

# Жизнь после смерти

## Аннотация

*Книга «Жизнь после смерти» предназначена для тех, кто искренне хотел бы разобраться, что же происходит с человеком после его смерти.*

*Сегодня как никогда много людей, причисляющих себя к христианам, находятся в плену ошибочных представлений о смерти. Среди «удобных» заблуждений - учение о реинкарнации души, возможности многократных перерождений, чистилище, всеобщем прощении по милости Божьей и многое другое.*

*Открывает сборник документальное произведение К. Искуля «Невероятное для многих, но истинное происшествие» об опыте возвращения человека с того света, с описанием переживаний умершего, а затем воскресшего человека.*

*Далее следуют пять очень разных по времени написания и стилю изложения книг, написанных известными христианскими авторами. Среди них и ставший классическим труд св. Игнатия Брянчанинова «Слово о смерти», написанный в 19 веке, и книги наших современников - митрополита Антония Сурожского и иеромонаха Роуза.*

*Дополняют сборник многочисленные письма Феофана Затворника о смерти, в которых автор очень просто и доступно указывает христианину на его будущую участь, в зависимости от прожитой им жизни и совершенных поступков.*

*Есть в сборнике и «Рассказ блаженной Феодоры о мытарствах» — необычайное и не имеющее аналогов произведение, описывающее происходящие с душой события в течение первых часов и дней после смерти тела.*

## Жизнь после смерти

### К. Искуль. Невероятное для многих, но истинное происшествие

#### Глава 1

Многие наш век (разумею XIX, ибо XX так еще юн, что было бы много для него чести считаться с ним и давать ему определения, как веку) называют «веком отрицания» и объясняют такую характерную особенность его духом времени.

Не знаю, возможны ли тут вообще такие подобию эпидемий, поветрий, но, несомненно, что, кроме этих, так сказать, эпидемических отрицаний, не мало есть у нас и таких, которые всецело выросли на почве нашего легкомыслия. Мы зачастую отрицаем то, чего совсем не знаем, а то, о чем слышали, то не продумано у нас и тоже отрицается, — и этого непродуманного накапливаются целые вороха, и в голове получается невообразимый хаос; какие-то обрывки разных, иногда совсем противоречивых учений, теорий, и ничего последовательного, цельного, и все поверхностное, неясное и туманное для нас самих; до полной невозможности разобраться в чем-нибудь. Кто мы, что мы, во что веруем, какой носим в душе идеал, и есть ли он у нас — все это для многих из нас такие же неведомые вещи, как мирозерцание какого-нибудь патагонца или бушмена. И удивительная странность здесь: кажется, никогда люди не любили так много рассуждать, как в наш «просвещенный» век, и рядом с этим самих себя не хотят осмыслить. Говорю это и по наблюдению над другими, и по личному сознанию.

Не буду вдаваться здесь в общую характеристику моей личности, так как это не к делу, и постараюсь представить себя читателю только в моих отношениях в религиозной области.

Как выросший в православной и довольно набожной семье и затем учившийся в таком заведении, где неверие не почиталось признаком гениальности ученика, из меня не вышел

ярый, завзятый отрицатель, какими были большинство молодых людей моего времени. Получилось из меня, в сущности, что-то весьма неопределенное: я не был атеистом и никак не мог считать себя сколько-нибудь религиозным человеком, а так как и то и другое являлось не следствием моих убеждений, но сложилось лишь в силу известной обстановки, то и прошу читателя самого подыскать должное определение моей личности в сем отношении.

Официально я носил звание христианина, но, несомненно, никогда не задумывался над тем, имею ли я, действительно, право на такое звание; никогда мне даже и в голову не приходило проверить — чего требует оно от меня и удовлетворяю ли я его требованиям? Я всегда говорил, что я верую в Бога, но если бы меня спросили, как я верую, как учит веровать в Него Православная Церковь, к которой я принадлежал, я, несомненно, стал бы в тупик. Если бы меня последовательно и обстоятельно спросили, верую ли я, например, в спасительность для нас воплощения и страданий сына Божия, в Его второе пришествие, как Судьи, как отношусь я к Церкви, верую ли в необходимость ее учения, в святость и спасительность для нас ее таинств и проч., — я воображаю только, каких нелепостей наболтал бы я в ответ.

Вот образчик: Однажды бабушка моя, которая всегда строго соблюдала пост, сделала мне замечание, что я не исполняю этого.

— Ты еще силен и здоров, аппетит у тебя прекрасный, стало быть, отлично можешь кушать постное. Как же не исполнять даже и таких установлений Церкви, которые для нас и не трудны?

— Но это, бабушка, совсем бессмысленное установление, — возразил я. — Ведь и вы кушаете только так, машинально, по привычке, а осмысленно никто такому учреждению подчиняться не станет.

— Почему же бессмысленное?

— Да не все ли равно Богу, что я буду есть: ветчину или балык?

Неправда ли, какая глубина понятий образованного человека о сущности поста!

— Как же это ты так выражаешься? — продолжала между тем бабушка. — Разве можно говорить, бессмысленное установление, когда сам Господь постился?

Я был удивлен таким сообщением, и только при помощи бабушки вспомнил евангельское повествование об этом обстоятельстве. Но то, что я совсем забыл о нем, как видите, нисколько не мешало мне пуститься в возражения, да еще довольно высокомерного тона.

И не подумайте, читатель, чтоб я был пустоголовее, легкомысленнее других молодых людей моего круга.

Вот вам еще один образец.

Одного из моих сослуживцев, слывшего за человека начитанного и серьезного, спросили: верует ли он во Христа как в Богочеловека? Он отвечал, что верует, но сейчас же из дальнейшего разговора выяснилось, что Воскресение Христа он отрицает.

— Позвольте, да вы же говорите что-то очень странное, — возразила одна пожилая дама. Что же, по вашему, далее последовало со Христом? Если вы веруете в Него, как в Бога, как же вместе с этим вы допускаете, что он мог совсем умереть, то есть прекратить Свое бытие?

Мы ждем какого-нибудь хитроумного ответа от нашего умника, каких-нибудь тонкостей в понимании смерти или нового толкования означенного события. Ничуть не бывало. Отвечает просто:

— Ах, этого я не сообразил! Сказал, как чувствовал.

## Глава 2

Вот совершенно подобная несообразность засела и, по недосмотру, свила себе прочное гнездо и в моей голове.

Я веровал в Бога, как будто так, как и следовало, то есть понимал Его, как Существо

личное, всемогущее, вечное; признавал человека Его творением, но в загробную жизнь не верил.

Недурной иллюстрацией к легкомыслию наших отношений и к религии, и к своему внутреннему устроению может служить то, что я и не знал в себе этого неверия, пока так же, как и вышеупомянутого моего сослуживца, его не обнаружил случай.

Судьба столкнула меня в знакомстве с одним серьезным и очень образованным человеком; он был при этом и чрезвычайно симпатичен и одинок, и я время от времени охотно посещал его.

Придя однажды к нему, я застал его за чтением катехизиса.

— Что это вы, Прохор Александрович (так звали моего знакомого), или в педагоги собираетесь? — удивленно спросил я, указывая на книжку.

— Какое, батенька мой, в педагоги! Хоть бы в школьники порядочные попасть. Где уж других учить! Самому надо к экзамену готовиться. Ведь седина то, видите, чуть не с каждым днем увеличивается; того и гляди вызовут, — со своею обычною добродушною улыбкою проговорил он.

Я не принял его слов в подлинном значении, подумав, что ему, как человеку всегда много читающему, просто понадобилась какая-нибудь справка в катехизисе. А он, желая, очевидно, объяснить странное для меня чтение, сказал:

— Много всякой современной чепухи читать приходится, вот и проверяю себя, чтоб не сбиться. Ведь экзамен то нам предстоит грозный, грозный уже тем, что никаких перерывов не дадут.

— Но неужели же вы верите этому?

— То есть как же в это не верить? Куда же я денусь, позвольте узнать? Неужели так-таки и рассыплюсь в прах? А если не рассыплюсь, так уж тут и вопроса не может быть о том, что к ответу потребуют. Я не пень, я с волей и разумом, я сознательно жил и ... грешил...

— Не знаю, Прохор Александрович, как и из чего могла сложиться у нас вера в загробную жизнь. Думается, умер человек — и всему тут конец. Видишь его бездыханным, все это гниет, разлагается, о какой же жизни может явиться тут представление? — проговорил я, тоже высказывая, что чувствовал и как, стало быть, сложилось у меня понятие.

— Позвольте, а куда же Лазаря Вифанского прикажете мне девать? Ведь это факт. И он ведь такой же человек, из этой же глины слеплен, что и я.

Я с нескрываемым удивлением смотрел на моего собеседника. Неужели же этот образованный человек верит таким невероятностям?

А Прохор Александрович, в свою очередь, посмотрел на меня пристально с минуту и затем, понизив голос, спросил:

— Или вы не верите?

— Нет, почему же? Я верую в Бога, — ответил я.

— А богооткровенному учению не верите? Впрочем, нынче и Бога стали различно понимать, и богооткровенную истину стал чуть не каждый по своему усмотрению переделывать, какие-то классификации тут позавели: в это, мол, должно верить, а в это можно и не верить, а в это и совсем не надо верить! Как будто истин несколько, а не одна. И не понимают, что они уже веруют в продукты собственного ума и воображения, и что если так, тогда уж для веры в Бога тут нет места.

— Но нельзя же всему верить. Иногда встречаются такие странные вещи.

— То есть непонятные? Заставьте понять себя. Не удастся — знайте, что вина здесь в вас, и покоритесь. Начните простолоудину толковать о квадратуре круга, или еще о какой-нибудь премудрости высшей математики, он тоже ничего не поймет, но из этого не следует, что и самую эту науку следует отрицать. Конечно, отрицать легче; но не всегда... лепо.

Вдумайтесь, какую, в сущности, несообразность вы говорите. Вы говорите, что в Бога веруете, а в загробную жизнь нет. Но Бог не есть же Бог мертвых, но живых. Иначе какой же это Бог? О жизни за гробом говорил Сам Христос, неужели же он говорил неправду? Но в этом не могли Его обличить даже злейшие враги. И зачем тогда приходил и страдал Он, если

нам предстоит лишь рассыпаться в прах?

Нет, так нельзя, это нужно непременно, непременно, — вдруг горячо заговорил он, — исправить. Ведь, поймите, как это важно. Такая вера должна ведь совсем иначе осветить вашу жизнь, дать ей иной смысл, направить иначе всю вашу деятельность. Это целый нравственный переворот. В этой вере для вас и узда, и в то же время утешение, и опора для борьбы с неизбежными для всякого человека житейскими невзгодами.

### Глава 3

Я понимаю всю логичность слов почтенного Прохора Александровича, но, конечно, несколько минут беседы не могли поселить во мне веры в то, во что я привык не верить, и разговор с ним, в сущности, послужил лишь к обнаружению моего взгляда на известное обстоятельство, — взгляда, которого я сам дотоле хорошо не знал, потому что высказывать его не приходилось, а раздумывать о нем и подавно.

А Прохора Александровича, по-видимому, серьезно взволновало мое неверие; он несколько раз в течение вечера возвращался к этой теме, и когда я собирался уходить от него, он наскоро выбрал несколько книг в своей обширной библиотеке и, подавая их мне, сказал:

— Прочтите их, непременно прочтите, потому что так этого оставить нельзя. Я уверен, что рассудочно вы скоро поймете и убедитесь в полной неосновательности вашего неверия, но надобно это убеждение провести из ума в сердце, надо, чтобы сердце поняло, а иначе оно продолжится у вас час, день — и опять разлетится, потому что ум — это решето, через которое только проходят разные помышления, а кладовая для них не там.

Я прочел книжки, не помню уж, все ли, но оказалось, что привычка была сильнее моего разума. Я признавал, что все написанное в этих книжках было убедительно, доказательно, (по скудости моих познаний в религиозной области я и не мог возразить чего-нибудь маломальски серьезного на имевшиеся в них доводы), а веры у меня все-таки не явилось.

Я сознавал, что это не логично, верил, что все, написанное в книгах — правда, но чувства веры у меня не было, и смерть так и оставалась в моем представлении абсолютным финалом человеческого бытия, за которым следовало лишь разрушение.

К моему несчастью, случилось так, что вскоре после означенного разговора с Прохором Александровичем я выехал из этого городка, где он жил, и мы больше с ним не встречались. Не знаю, быть может, ему, как человеку, располагавшему обаянием горячо убежденного человека, удалось бы хотя сколько-нибудь углубить мои взгляды и отношения к жизни и вещам вообще, и через это внести и некоторое изменение в мои понятия о смерти, но, предоставленный самому себе и не будучи вовсе по характеру особенно вдумчивым и серьезным молодым человеком, я нисколько не интересовался такими отвлеченными вопросами и по своему легкомыслию даже на первое время ни капельки не задумался над словами Прохора Александровича о важности недостатка в моей вере и необходимости избавиться от него.

А затем время, перемена мест, встречи с новыми людьми не только выветрили из моей памяти и этот вопрос, и беседу с Прохором Александровичем, но даже и самый образ его и мое кратковременное знакомство с ним.

### Глава 4

Прошло немало лет. К стыду моему должен сказать, что я мало изменился за истекшие годы нравственно. Хотя я уже находился в предположении дней моих, то есть был уже человеком средних лет, но в моих отношениях к жизни и себе немного прибыло серьезности. Я не осмыслил жизни, какое — то мудреное познание самого себя оставалось для меня такою же «химической» выдумкой, как рассуждения метафизика в известной басне того же имени, я и жил, водясь теми же грубоватыми, пустыми интересами, тем же лживым и

довольно-таки низменным пониманием смысла жизни, какими живет большинство светских людей моей среды и образования.

На той же точке стояло и мое отношение к религии, то есть я по-прежнему не был ни атеистом, ни сколько-нибудь осмысленно набожным человеком. Я, как и прежде, ходил по привычке изредка в церковь, по привычке говел раз в год, по привычке крестился, когда полагалось — и этим ограничивалось все. Никакими вопросами религии я не интересовался, кроме, конечно, самых элементарных, азбучных понятий; я ничего не знал здесь, но мне казалось, что я отлично знаю и понимаю все, и что все тут так просто, «не хитро», что «образованному» человеку не над чем и голову трудить. Наивность уморительная, но, к сожалению, очень свойственная «образованным» людям нашего века.

Само собой разумеется, что при наличии таких данных, ни о каком прогрессировании моего религиозного чувства, ни о расширении круга моих познаний в этой области не могло быть и речи.

## Глава 5

И вот в эту пору случилось мне попасть по делам службы в К. и заболеть серьезно.

Так как ни родных, ни даже прислуги в К. у меня не было, то и пришлось лечь в больницу. Доктора определили у меня воспаление легких.

В первое время я чувствовал себя настолько порядочно, что не раз уже думал, что из-за такого пустяка не стоило и ложиться в больницу, но по мере того, как болезнь развивалась и температура стала быстро подниматься, я понял, что с таким «пустяком» вовсе было не интересно валяться одному-одинешеньку в номере гостиницы.

В особенности донимали меня в больнице длинные зимние ночи; жар совсем не давал спать, иногда даже и лежать было нельзя, а сидеть на койке неловко, и утомительно; встать и походить по палате то не хочется, то не можется; и так вертишься, вертишься в кровати, то ляжешь, то сядешь, то спустишь ноги, то сейчас же их опять подберешь и все прислушиваешься: да когда же эти часы будут бить! Ждешь, ждешь, а они, словно назло, пробьют два или три, стало быть, до рассвета оставалась еще целая вечность. И как удручающе действует на больного этот общий сон и ночная тишина! Словно живой попал на кладбище в общество мертвецов.

По мере того как дело подвигалось к кризису, мне, конечно, становилось все хуже и труднее, по временам начало так прихватывать, что уж было ни до чего, и я не замечал томительности бесконечных ночей. Но не знаю, чему следовало приписать это: тому ли, что я всегда был и считал себя человеком очень крепким и здоровым, или это происходило оттого, что до этого времени я ни разу не болел серьезно и голове моей чужды были те печальные мысли, какие навевают иногда тяжелые болезни, только, как ни скверно бывало мое самочувствие, как ни круты бывали в иные минуты приступы моей болезни, мысль о смерти ни разу не пришла мне в голову.

Я с уверенностью ожидал, что не сегодня-завтра должен наступить поворот к лучшему и нетерпеливо спрашивал всякий раз, когда у меня вынимали градусник из-под руки, какова у меня температура. Но, достигнув известной высоты, она словно замерла на одной точке, и на мой вопрос я постоянно слышал в ответ: «сорок и девять десятых», «сорок один», «сорок и восемь десятых».

— Ах, какая же это длинная канитель! — с досадой говорил я, и затем спрашивал у доктора — Неужели же и мое поправление будет идти таким черепашьям шагом?

Видя мое нетерпение, доктор утешал меня и говорил, что в мои годы и с моим здоровьем нечего бояться, что выздоровление не затянется, что при таких выгодных условиях после всякой болезни можно оправиться чуть ли не в несколько дней.

Я вполне верил этому и подкреплял свое терпение мыслью, что остается только как-нибудь дождаться кризиса, а там все сразу как рукой снимет.

## Глава 6

В одну ночь мне было особенно плохо; я метался от жара, и дыхание было крайне затруднено, но к утру мне вдруг сделалось легче настолько, что я мог даже заснуть. Проснувшись, первую моей мыслью при воспоминании о ночных страданиях, было: «Вот это, вероятно, и был перелом. Авьось теперь конец и этим удушьям, и этому несносному жару».

И, увидав входившего в соседнюю палату молоденького фельдшера, я позвал его и попросил поставить мне градусник.

— Ну, барин, теперь дело на поправку пошло, — весело проговорил он, вынимая через положенное время градусник, — температура у вас нормальная.

— Неужели? — радостно спросил я.

— Вот, извольте посмотреть: тридцать семь и одна десятая. Да и кашель вас, кажется, не так беспокоил.

В девять часов пришел доктор. Я сообщил ему, что ночью мне было нехорошо, и высказал предположение, что, вероятно, это был кризис, но что теперь я чувствую себя недурно и перед утром мог даже заснуть несколько часов.

— Вот это и отлично, — проговорил он и подошел к столу просмотреть лежавшие на нем какие-то таблички или списки.

— Градусник прикажете ставить? — спросил у него в это время фельдшер. — Температура у них нормальная.

— Как нормальная? — быстро подняв голову от стола и с недоумением глядя на фельдшера, спросил доктор.

— Так точно, я сейчас смотрел.

Доктор велел вновь поставить градусник и даже сам посмотрел, правильно ли он поставлен.

Но на этот раз градусник не дотянул и до тридцати семи: оказалось тридцать семь без двух десятых.

Доктор достал из бокового кармана сюртука свой градусник, встряхнул, повертел его в руках, очевидно удостоверившись в его исправности, и поставил мне.

Второй показал то же, что и первый.

К моему удивлению, доктор не выразил не малейшей радости по поводу этого обстоятельства, не сделав даже, ну, хоть бы приличия ради, сколько-нибудь веселой мины, и, повертевшись как-то суетливо и бестолково у стола, вышел из палаты, а через минуту я услышал, что в комнате зазвенел телефон.

## Глава 7

Вскоре явился старший врач; они вдвоем выслушали, осмотрели меня и велели чуть не всю мою спину облепить мушками; затем, прописав микстуру, они не сдали мой рецепт с прочими, но послали отдельно с ним фельдшера в аптеку, очевидно, с приказанием приготовить его не в очередь.

— Послушайте, чего это вы вздумали теперь-то, когда я чувствую себя совсем неплохо, жечь меня мушками? — спросил я у старшего доктора.

Мне показалось, будто доктора смутил или раздосадовал мой вопрос, и он нетерпеливо ответил:

— Ах, Боже мой! Да нельзя же вас сразу бросить без всякой помощи на произвол болезни, потому что вы чувствуете себя несколько лучше! Надо же повытянуть из вас всю эту дрянь, что накопилась там за это время.

Часа через три младший доктор вновь заглянул ко мне; он посмотрел, в каком состоянии были поставленные мне мушки, спросил, сколько ложек микстуры успел я принять. Я сказал — три.

— Кашляли вы?

— Нет, — отвечал я.

— Ни разу?

— Ни разу.

— Скажите, пожалуйста, — обратился я по уходе врача к вертевшемуся почти неотлучно в моей палате фельдшеру, — какая мерзость наболтана в этой микстуре? Меня тошнит от нее.

— Тут разные отхаркивающие средства, немножко и ипекакуаны есть, — пояснил он.

Я в данном случае поступил как раз так, как зачастую поступают нынешние отрицатели в вопросах религии, то есть, ровно ничего не понимая из происходящего, я мысленно осудил и укорил в непонимании дела докторов: дали, мол, отхаркивающее, когда мне и выхаркивать нечего.

## Глава 8

Между тем, спустя часа полтора или два после последнего посещения докторов, ко мне в палату снова явилось их целых три: два наших и третий, какой-то важный и осанистый, чужой.

Долго они выстукивали и выслушивали меня; появился и мешок с кислородом. Последнее несколько удивило меня.

— Теперь-то к чему же это? — спросил я.

— Да надо же профильтровать немножко ваши легкие. Ведь они, небось, чуть не испеклись у вас, — проговорил чужой доктор.

— А скажите, доктор, чем это так пленила вас моя спина, что вы так хлопочите над нею? Вот уже третий раз за утро выстукиваете ее, мухами всю расписали.

Я чувствовал себя настолько лучше, сравнительно с предыдущими днями, и поэтому так далек был мыслью от всего печального, что никакие аксессуары, должно быть, не способны были навести меня на догадки о моем действительном положении; даже появление важного чужого доктора я объяснил себе как ревизию или что-нибудь в этом роде, никак не подозревая, что он вызван был специально для меня, чтобы мое положение требовало консилиума. Последний вопрос я задал таким непринужденным и веселым тоном, что, вероятно, ни у кого из моих врачей не хватило духу, хотя намеком, дать понять мне надвигающуюся катастрофу. Да и правда, как сказать человеку, полному радостных надежд, что ему, быть может, остается всего несколько часов жить!

— Теперь-то и надо похлопотать около вас, — неопределенно ответил мне доктор.

Но я и этот ответ принял в желаемом смысле, то есть, что теперь, когда наступил перелом, когда сила недуга ослабевает, вероятно, и должно, и удобнее приложить все средства, чтоб окончательно выдворить болезнь и помочь восстановиться всему, что было поражено ею.

## Глава 9

Помню, часов около четырех я почувствовал как бы легкий озноб и, желая согреться, плотно увернулся в одеяло и лег было в постель, но мне вдруг сделалось очень дурно.

Я позвал фельдшера; он подошел, поднял меня с подушки и подал мешок с кислородом. Где-то прозвенел звонок, и через несколько минут в мою палату торопливо вошел старший фельдшер, а затем, один за другим, и оба наши врача.

В другое время такое необычайное сборище всего медицинского персонала и быстрота, с какой собрался он, несомненно, удивили и смутили бы меня, но теперь я отнесся к этому совершенно равнодушно, словно оно и не касалось меня.

Странная перемена произошла вдруг в моем настроении! За минуту перед тем жизнерадостный, я теперь, хотя и видел, и отлично понимал все, что происходило вокруг

меня, но ко всему этому у меня вдруг явилась такая непостижимая безучастность, такая отчужденность, какая, думается, совсем даже и не свойственна живому существу.

Все мое внимание сосредоточилось на мне же самом, но и здесь была удивительно своеобразная особенность, какая-то раздвоенность: я вполне ясно и определенно чувствовал и осознавал себя, и в то же время относился к себе настолько безучастно, что, казалось, будто утерять способность физических ощущений.

Я видел, например, как доктор протягивал руку и брал меня за пульс, и понимал, что он делал, но прикосновения его не чувствовал. Я видел и понимал, что доктора, приподняв меня, все что-то делали и хлопотали над моей спиной, с которой, вероятно, начался у меня отек, но что делали они — я не чувствовал, и не потому, чтобы в самом деле лишился способности ощущать, но потому, что меня нисколько не интересовало это, потому что, уйдя куда-то далеко вглубь себя, я не прислушивался и не следил за тем, что делали они со мной.

Во мне как бы вдруг обнаружилось два существа: одно — крившееся где-то глубоко и главнейшее; другое — внешнее и, очевидно, менее значительное; и вот теперь словно связывавший их состав выгорел или расплавился, и они распались, и сильнейшее чувствовалось мною ярко, определенно, а слабейшее стало безразличным. Это слабейшее было мое тело.

Могу представить себе, как, быть может, всего несколько дней тому назад, был бы поражен я откровением в себе этого неведомого мною дотоле, внутреннего моего существа и сознанием его превосходства над той, другой моей половиной, которая, по моим понятиям, и составляла всего человека, но которой теперь я почти и не замечал.

Удивительно было это состояние: жить, видеть, слышать, понимать все, и, в то же время, как бы и не видеть, и не понимать ничего, такую чувствовать ко всему отчужденность.

## Глава 10

Вот доктор задал мне вопрос; я слышу и понимаю, что он спрашивает, но ответа не даю, не даю потому, что мне незачем говорить с ним. А ведь он хлопочет и беспокоится обо мне же, но о той половине моего я, которая утратила теперь всякое значение для меня, до которой мне нет никакого дела.

Но вдруг она заявила о себе, и как резко и необычайно заявила!

Я вдруг почувствовал, что меня с неудержимой силой потянуло куда-то вниз. В первые минуты это ощущение было похоже на то, будто ко всем членам моим подвесили тяжелые многопудовые гири, но вскоре такое сравнение не могло уже выразить моего ощущения: представление такой тяги оказывалось уже ничтожным.

Нет, тут действовал какой-то ужасающей силы закон притяжения.

Мне казалось, что не только всего меня, но каждый мой член, каждый волосок, тончайшую жилку, каждую клеточку моего тела в отдельности тянет куда-то с такой-же неотразимостью, как сильнодействующий магнит притягивает к себе куски металла.

И, однако, как не сильно было это ощущение, оно не препятствовало мне думать и сознавать действительность, то есть, что я лежу на койке, что палата моя во втором этаже, что подо мной такая же комната, но, в то же время, по силе ощущения я был уверен, что, будь подо мною не одна, а десять нагроможденных одна на другую комнат, все это мгновенно расступится предо мною, чтобы пропустить меня... куда?

Куда-то дальше, глубже, в землю.

Да, именно в землю, и мне захотелось лечь на пол; я сделал усилие и заметался.

## Глава 11

Агония, — услышал я произнесенное надо мною доктором слово.

Так как я не говорил, и взгляд мой, как сосредоточенного в самом себе человека,



должно быть, выражал полную к окружающему безучастность, то доктора, вероятно порешили, что я нахожусь в бессознательном состоянии и говорили обо мне надо мною, уже не стесняясь. А между тем, я не только отлично понимал все, но не мог не мыслить и в известной сфере не наблюдать.

«Агония! смерть!» — подумал я, услышав слова доктора. «Да неужели же я умираю?» — обращаясь к самому себе, громко проговорил я; но как? почему? объяснить этого не могу.

Мне вдруг вспомнилось когда-то давно прочитанное мной рассуждение ученых о том, болезненна ли смерть, и, закрыв глаза, я прислушался к себе, к тому, что происходило во мне.

Нет, физических болей я не чувствовал никаких, но я, несомненно, страдал, мне было тяжело, томно. Отчего же это? Я знал, от какой болезни я умираю; что же, душил ли меня отек, или он стеснил деятельность сердца, и оно томило меня? Не знаю, быть может, таково было определение наступавшей смерти по понятиям тех людей, того мира, который был теперь так чужд и далек для меня; я же чувствовал только непреодолимое стремление куда-то, тяготение к чему-то, о котором говорил выше.

И я чувствовал, что тяготение это с каждым мгновением усиливается, что я уже вот-вот совсем близко подхожу, почти касаюсь того влекущего меня магнита, прикоснувшись к которому я всем моим естеством припаяюсь, срастусь с ним так, что уж никакая сила не в состоянии будет отделить меня от него. И чем сильнее чувствовал я близость этого момента, тем страшнее и тяжелее становилось мне, потому что вместе с этим ярче обнаруживался во мне протест, яснее чувствовал, что весь я не могу слиться, что что-то должно отделиться во мне, и это что-то рвалось от неведомого предмета притяжения с такою же силой, с какой что-то другое во мне стремилось к нему. Эта борьба и причиняла мне истому, страдания.

## Глава 12

Значение услышанного мною слова «агония» было вполне понятно для меня, но все во мне как-то перевернулось теперь от моих отношений, чувств и до понятий включительно.

Несомненно, если бы я слышал это слово хотя тогда, когда трое докторов выслушивали меня, я был бы невыразимо испуган им. Несомненно также, что, не случись со мною такого странного переворота, оставайся я в обычном состоянии больного человека, я и в данную минуту, зная, что наступает смерть, понимал бы и объяснял все происходящее со мной иначе; но теперь слова доктора удивили меня, не вызывая того страха, какой вообще присущ людям при мысли о смерти, и дали совсем неожиданное в сопоставлении с моими прежними понятиями толкование тому состоянию, какое испытывал я.

«Так вот оно что! Это она, земля, так тянет меня», — вдруг ясно выплыло в моей голове. «То есть не меня, а то свое, что на время дала мне. И она ли тянет или оно стремится к ней?»

И то, что прежде казалось мне столь естественным и достоверным, то есть, что весь я по смерти рассыплюсь в прах, теперь явилось для меня противоестественным и невозможным.

«Нет, весь я не уйду, не могу», — чуть ли не громко вскрикнул я, и, сделав усилие освободиться, вырваться от той силы, что влекла меня, вдруг почувствовал, что мне стало легко.

Я открыл глаза, и в моей памяти с совершенной ясностью, до малейших подробностей, запечатлелось все, что увидел я в ту минуту.

Я увидел, что стою один посреди комнаты; вправо от меня, обступив что-то полукругом, столпился весь медицинский персонал; заложив руки за спину и пристально глядя на что-то, чего мне за их фигурами не было видно, стоял старший врач; подле него, слегка наклонившись вперед — младший; старик-фельдшер, держа в руках мешок с кислородом, нерешительно переминался с ноги на ногу, по-видимому, не зная, что делать ему теперь со своей ношей, отнести ли ее, или она может еще понадобиться; а молодой,

нагнувшись, поддерживал что-то, мне из-за его плеча виден был только угол подушки.

Меня удивила эта группа; на том месте, где стояла она, была койка. Что же теперь привлекало внимание этих людей, на что смотрели они, когда меня уж там не было, когда я стоял посреди комнаты?

Я подвинулся и глянул туда, куда глядели все они...

Там на койке лежал я.

## Глава 13

Не помню, чтобы я испытал что-нибудь похожее на страх при виде своего двойника; меня охватило только недоумение: «Как же это? Я чувствую себя здесь, между тем и там тоже я?»

Я оглянулся на себя, стоящего посреди комнаты. Да, это, несомненно, был я, точно такой же, каким я знал себя.

Я захотел осязать себя, взять правой рукой за левую: моя рука прошла насквозь; попробовал охватить себя за талию — рука снова прошла через мой корпус, как по пустому пространству.

Пораженный таким странным явлением, я хотел, чтобы мне со стороны помогли разобраться в нем, и, сделав несколько шагов, протянул руку, желая дотронуться до плеча доктора, но почувствовал: иду я как-то странно, не ощущая прикосновения к полу, рука моя, как ни стараюсь я, все никак не может достигнуть фигуры доктора, всего, может быть, какой-нибудь вершок-два остается пространства, а дотронуться до него не могу.

Я сделал усилие твердо встать на пол, но, хотя корпус мой повиновался моим усилиям и опускался вниз, а, достигнув пола, так же, как фигуры доктора, мне оказалось невозможным, Тут тоже оставалось ничтожное пространство, но преодолеть его я никак не мог.

И мне живо вспомнилось, как несколько дней тому назад сиделка нашей палаты, желая предохранить мою микстуру от порчи, опустила пузырек с нею в кувшин с холодной водой, но воды в кувшине было много, и она сейчас же вынесла легкий пузырек вверх, а старушка, не понимая в чем дело, настойчиво и раз, и другой, и третий опускала его на дно и даже придерживала его пальцем, в надежде, что он устоит, но едва поднимала палец, как пузырек снова выворачивался на поверхность.

Так, очевидно, и для меня, теперешнего меня, окружавший воздух был уже слишком плотен.

## Глава 14

Что же случилось со мной?

Я позвал доктора, но атмосфера, в которой я находился, оказывалась совсем непригодной для меня; она не воспринимала и не передавала звуков моего голоса, и я понял свою полную разобщенность со всем окружающим, свое странное одиночество, и панический страх охватил меня. Было действительно что-то невыразимо ужасное в этом необычайном одиночестве. Заблудился ли человек в лесу, тонет ли он в пучине морской, горит ли в огне, сидит ли в одиночном заключении, — он никогда не теряет надежды, что его поймут, лишь бы донесся куда-нибудь его зов, его крик о помощи; он понимает, что его одиночество продолжится только до той минуты, пока он не увидит живое существо, что войдет сторож в его каземат, и он может сейчас же заговорить с ним, высказать ему, что желает, и тот поймет его.

Но видеть вокруг себя людей, слышать и понимать их речь, и в то же время знать, что ты, что бы ни случилось с тобой, не имеешь никакой возможности заявить им о себе, ждать от них, в случае нужды, помощи, — от такого одиночества волосы на голове становились дыбом, ум цепенел. Оно было хуже пребывания на необитаемом острове, потому что там

хоть природа воспринимала бы проявление нашей личности, а здесь, в одном этом лишении возможности общаться с окружающим миром, как явлению неестественном для человека, было столько мертвящего страха, такое страшное сознание беспомощности, какого нельзя испытать ни в каком другом положении и передать словами.

Я, конечно, сдался не сразу; я всячески пробовал и старался заявить о себе, но попытки эти приводили меня лишь в полное отчаяние. «Неужели же они не видят меня?» — с отчаянием думал я и, снова и снова, приближался к стоящей над моей койкой группе лиц, но никто из них не оглядывался, не обращал на меня внимания, и я с недоумением осматривал себя, не понимая, как могут они не видеть меня, когда я такой же, как был. Но делал попытку осязать себя, и рука моя снова рассекала лишь воздух.

«Но ведь я же не призрак, я чувствую и сознаю себя, и тело мое есть действительное тело, а не какой-нибудь обманчивый мираж», — думал я и снова пристально осматривал себя и убеждался, что тело мое, несомненно, было тело, ибо я мог всячески рассматривать его и совершенно ясно видеть малейшую черточку, точку на нем. Внешний вид его оставался таким же, как был и прежде, но изменилось, очевидно, свойство его: оно стало недоступно для осязания, и окружающий воздух стал настолько плотен для него, что не допускал его полного соприкосновения с предметами.

«Астральное тело. Кажется, это так называется?» — мелькнуло в моей голове. «Но почему же, что случилось со мной?» — задавал я себе вопрос, стараясь припомнить, не слышал ли я когда-нибудь рассказов о таких состояниях, странных трансфигурациях в болезнях.

## Глава 15

Нет, ничего тут не поделаешь! Все кончено, — безнадежно махнув рукой, проговорил в это время младший доктор и отошел от койки, на которой лежал я.

Мне стало невыразимо досадно, что они все толкуют и хлопочут над тем моим «я», которого я совершенно не чувствовал, которое совсем не существовало для меня и оставляют без внимания другого, настоящего меня, который все сознает и, мучаясь страхом неизвестности, ищет, требует их помощи.

«Неужели они не спохватятся меня, неужели не понимают, что там меня нет», — с досадой думал я и, подойдя к койке, глянул на того себя, который в ущерб моему настоящему «я» привлекал внимание находившихся в палате людей.

Я глянул, и тут только впервые у меня явилась мысль: «Да не случилось ли со мною того, что на нашем языке, на языке живых людей, определяется словом «смерть»?»

Это пришло мне в голову потому, что мое лежавшее на койке тело имело совершенно вид мертвеца: без движения, бездыханное, с покрытым какой-то особенной бледностью лицом, с плотно сжатыми, слегка посинелыми губами, оно живо напомнило мне всех виденных мною покойников. Сразу может показаться странным, что только при виде моего бездыханного тела я сообразил, что именно случилось со мною, но, вникнув и проследив, что чувствовал и испытывал я, такое странное по первому взгляду недоумение станет понятным.

В наших понятиях со словом «смерть» неразлучно связано представление о каком-то уничтожении, прекращении жизни, как же мог я думать, что умер, когда я ни на одну минуту не терял самосознания, когда я чувствовал себя таким же живым, все слышащим, видящим, сознающим, способным двигаться, думать, говорить? Даже слова доктора о том, что «все кончено», не остановили на себе моего внимания и не вызвали догадки о случившемся — настолько разнилось то, что произошло со мною, с нашими представлениями о смерти!

Разобщение со всем окружающим, раздвоение моей личности скорее всего могло бы дать мне понять случившееся, если бы я верил в существование души, был человеком религиозным; но этого не было, и я водился лишь тем, что чувствовал, а ощущение жизни было настолько ясно, что я только недоумевал над странными явлениями, будучи совершенно не в состоянии связывать моих ощущений с традиционными понятиями о смерти, то есть, чувствуя и сознавая себя, думать, что я не существую.

Впоследствии мне неоднократно приходилось слышать от людей религиозных, то есть не отрицавших существования души и загробной жизни, такое мнение или предположение, что душа человека, едва только сбросит он с себя брэнную плоть, сейчас же становится каким-то всеведущим существом, что для нее ничего нет непонятного и удивительного в новых сферах, в новой форме ее бытия, что она не только мгновенно входит в новые законы открывшегося ей нового мира и своего измененного существования, но что все это так сродни ей, что тот переход есть для нее как бы возвращение в настоящее отечество, возвращение к естественному ее состоянию. Такое предположение основывалось главным образом на том, что душа есть дух, а для духа не может существовать тех ограничений, какие существуют для плотского человека.

## Глава 16

Предположение такое, конечно, совершенно неверно.

Из вышеописанного читатель видит, что я явился в этот новый мир совершенно таким же, каким ушел из старого, то есть почти с теми же способностями, понятиями и познаниями, какие имел, живя на земле.

Так, желая как-нибудь заявить о себе, я прибегал к таким же приемам, какие обыкновенно употребляются для этого всеми живыми людьми, то есть я, старался дотронуться, толкнуть кого-нибудь; заметив новое свойство своего тела, я находил это странным; следовательно, понятия у меня оставались прежние; иначе это не было бы для меня странным, и, желая убедиться в существовании моего тела, я опять-таки прибегал к обычному мне, как человеку, для этого способу.

Даже поняв, что я умер, я не постиг какими-нибудь новыми способами происшедшей во мне перемены, и, недоумевая, то называл мое тело «астральным», то у меня пронеслась мысль, что не с таким ли телом был создан первый человек, и что полученные им после падения кожаные ризы, о которых упоминается в Библии, не есть ли то брэнное тело, которое лежит на койке и через несколько времени превратиться в прах; одним словом, желая понять случившееся, я подводил такие ему объяснения, какие ведомы и доступны были мне по моим земным познаниям.

И это естественно. Душа, понятно, есть дух, но дух, созданный для жизни с телом; поэтому, каким же образом тело может явиться для нее чем-то вроде тюрьмы, какими-то узами, приковывающими ее к несродному будто бы ей существованию?

Нет, тело есть законное, предоставленное ей жилище и поэтому явится в новый мир в той степени своего развития и зрелости, каких достигла в совместной жизни с телом, в положенной ей нормальной форме бытия. Конечно, если человек был при жизни духовно развит, настроен, его душе много будет более сродно и оттого понятнее в этом новом мире, чем душе того, кто жил, никогда не думая о нем, и, тогда как первая в состоянии будет, так сказать, сразу читать там, хотя и не бегло, а с запинками, второй, подобно моей, нужно начинать с азбуки, нужно время, чтобы уразуметь и тот факт, о котором она никогда не помышляла, и ту страну, в какую она попала, в которой никогда и мысленно не бывала.

Вспоминая и продумывая впоследствии свое тогдашнее состояние, я заметил только, что мои умственные способности действовали и тогда с такой удивительной энергией и быстротой, что, казалось, не оставалось ни малейшей черты времени для того, чтобы с моей стороны сделать усилие сообразить, сопоставить, вспомнить что-нибудь; едва что-либо вставало предо мною, как память моя, мгновенно пронизывая прошлое, выкапывала все заваливавшиеся там и заглохшие крохи знания по данному предмету, и то, что в другое время, несомненно, вызывало бы мое недоумение, теперь представлялось мне как бы известным. Иногда я даже каким-то наитием предугадывал и неведомое мне, но все-таки не раньше, чем оно представлялось моим глазам. В этом только и заключалась особенность моих способностей, кроме тех, которые являлись следствием моего измененного естества.

## Глава 17

Перехожу к повествованию о дальнейших обстоятельствах моего невероятного происшествия.

Невероятно! Но если оно до сих пор казалось невероятным, то эти дальнейшие обстоятельства явятся в глазах моих образованных читателей такими «наивными» небылицами, что о них и повествовать бы не стоило; но, может быть, для тех, кто пожелает взглянуть на мой рассказ иначе, самая наивность и скудость послужат удостоверением его истинности, ибо если бы я сочинял, выдумывал, то здесь для фантазии открывается широкое поле и, конечно, я бы выдумал что-нибудь помудренее, поэффектнее.

Итак, что же дальше было со мною? Доктора вышли из палаты, оба фельдшера стояли и толковали о перипетиях моей болезни и смерти, а старушка няня (сиделка), повернувшись к иконе, перекрестилась и громко высказала обычное в таких случаях пожелание мне:

— Ну, царство ему небесное, вечный покой...

И едва она произнесла эти слова, как подле меня явились два Ангела; в одном из них я почему-то узнал моего Ангела-Хранителя, а другой был мне неизвестен.

Взяв меня под руки, Ангелы вынесли меня прямо через стену из палаты на улицу.

## Глава 18

Смерклось уже, шел большой, тихий снежок. Я видел это, но холода и вообще перемены между комнатною температурой и надворною не ощутил. Очевидно, подобные вещи утратили для моего измененного тела свое значение. Мы стали быстро подыматься вверх. И по мере того, как подымались мы, взору моему открывалось все большее и большее пространство, и, наконец, оно приняло такие ужасающие размеры, что меня охватил страх от сознания моего ничтожества перед этой бесконечной пустыней. В этом, конечно, сказывались некоторые особенности моего зрения. Во-первых, было темно, а я видел все ясно; следовательно, зрение мое получило способность видеть в темноте; во-вторых, я охватывал взором такое пространство, какого, несомненно, не мог охватить моим обыкновенным зрением. Но этих особенностей я, кажется, не сознавал тогда, а что я вижу не все, что для моего зрения, как ни широк его кругозор, все-таки существует предел, — это я отлично понимал и ужасался. Да, насколько, стало быть, свойственно человеку ценить во что-то свою личность: я сознавал себя таким ничтожным, ничего не значащим атомом, появление или исчезновение которого, понятно, должно было оставаться совсем незамеченным в этом беспредельном пространстве, но вместо того, чтобы находить для себя в этом некоторое успокоение, своего рода безопасность, я страшился... что затеряюсь, что эта необъятность поглотит меня, как жалкую пылинку. Удивительный отпор ничтожной точки всеобщему (как мнят некоторые) закону разрушения, и знаменательное проявление сознания человеком его бессмертия, его вечного личного бытия!

## Глава 19

Идея времени погасла в моем уме, и я не знаю, сколько мы еще подымались вверх, как вдруг послышался сначала какой-то неясный шум, а затем, выплыв откуда-то, к нам с криком и гогом стала быстро приближаться толпа каких-то безобразных существ.

«Бесы!» — с необычайной быстротой сообразил я и оцепенел от какого-то особенного, неведомого мне дотоле ужаса. Бесы! О, сколько иронии, сколько самого искреннего смеха вызвало бы во мне всего несколько дней, даже часов тому назад чье-нибудь сообщение, не только о том, что он видел своими глазами бесов, но что он допускает существование их, как тварей известного рода! Как и подобало «образованному» человеку конца девятнадцатого века, я под этим названием разумел дурные склонности, страсти в человеке, почему и самое слово это имело у меня значение не имени, а термина, определявшего известное понятие. И

вдруг это «известное отвлеченное понятие» предстало мне живым олицетворением! Не могу и до сих пор сказать, как и почему я тогда без малейшего недоумения признал в этом безобразном видении бесов. Несомненно лишь, что такое определение совсем выходило из порядка вещей и логики, ибо, предстань мне подобное зрелище в другое время, сказал бы, что это какая-то небылица в лицах, уродливый каприз фантазии, — одним словом, все что угодно, но уж, конечно, никак не назвал бы его тем именем, под которым понимал нечто такое, чего и видеть нельзя. Но тогда это определение вылилось с такой быстротой, как-будто тут и думать было незачем, как-будто я увидел что-то давно и хорошо мне известное, и так как мои умственные способности работали в то время, как говорил я, с какой-то непостижимой энергией, то я почти так же быстро сообразил, что безобразный вид этих тварей не был их настоящей внешностью, что это был какой-то мерзкий маскарад, придуманный, вероятно, с целью больше устроить меня, и на мгновение что-то похожее на гордость шевельнулось во мне. Мне стало стыдно за себя, за человека вообще, что для того, чтобы испугать его, столь много мнящего о себе, другие твари прибегают к таким приемам, какие нами практикуются по отношению к малым детям.

Окружив нас со всех сторон, бесы с криком и гамом требовали, чтобы меня отдали им, они старались как-нибудь схватить меня и вырвать из рук Ангелов, но, очевидно, не смели этого сделать. Среди их невообразимого и столь же отвратительного для слуха, как сами они были для зрения, воя и гама я улавливал иногда слова и целые фразы.

— Он наш: он от Бога отрекся, — вдруг чуть не в один голос завопили они, и при этом уж с такой наглостью кинулись на нас, что от страха у меня на мгновение застыла всякая мысль.

«Это ложь! Это неправда!» — опомнившись, хотел крикнуть я, но услужливая память связала мне язык. Каким-то непонятным образом мне вдруг вспомнилось такое маленькое, ничтожное событие, к тому же и относившееся еще к давно минувшей эпохе моей юности, о котором, кажется, я и вспомнить никак не мог.

## Глава 20

Мне вспомнилось, как еще во времена моего учения, собравшись однажды у товарища, мы, потолковав о своих школьных делах, перешли затем на разговор о разных отвлеченных и высоких предметах, — разговоры, какие велись нами зачастую.

— Я вообще не люблю отвлеченностей, — говорил один из моих товарищей, — а здесь уж совершенная невозможность. Я могу верить в какую-нибудь, пусть и не исследованную наукой, силу природы, то есть я могу допустить ее существование, и не видя ее явных, определенных проявлений, потому что она может быть ничтожной или сливающейся в своих действиях с другими силами, и оттого ее трудно и уловить; но веровать в Бога, как в Существо личное и всемогущее, верить — когда я не вижу нигде ясных проявлений этой Личности — это уже абсурд. Мне говорят: веруй. Но почему должен я веровать, когда я одинаково могу верить и тому, что Бога нет. Ведь правда же? И может быть, Его и нет? — уже в упор ко мне отнесся товарищ.

— Может быть и нет, — проговорил я.

Фраза эта была в полном смысле «праздным глаголом»: во мне не могла вызвать сомнений в бытии Бога бестолковая речь приятеля, я даже не особенно следил за разговором, — и вот теперь оказалось, что этот праздный глагол не пропал бесследно в воздухе, мне надлежало оправдываться, защищаться от возводимого на меня обвинения, и таким образом удостоверилось евангельское сказание, что, если и не по воле ведущего тайная сердца человеческого Бога, то по злобе врага нашего спасения, нам действительно предстоит дать ответ и во всяком праздном слове.

Обвинение это, по-видимому, являлось самым сильным аргументом моей гибели для бесов, они как бы почерпнули новую силу для смелости своих нападений на меня и уж с неистовым ревом завертелись вокруг нас, преграждая нам дальнейший путь.

Я вспомнил о молитве и стал молиться, призывая на помощь тех Святых, которых знал и чьи имена пришли мне на ум. Но это не устрашало моих врагов. Жалкий невежда, христианин лишь по имени, я чуть ли не впервые вспомнил о Той, Которая именуется Заступницей рода христианского.

Но, вероятно, горяч был мой порыв к Ней, вероятно, так была преисполнена ужаса душа моя, что едва я, вспомнив, произнес Ее имя, как вокруг нас вдруг появился какой-то белый туман, который и стал быстро заволакивать безобразное сонмище бесов. Он скрыл его от моих глаз, прежде чем оно успело отделиться от нас. Рев и гогот их слышался еще долго, но по тому, как он постепенно ослабевал и становился глуше, я мог понять, что страшная погоня отставала от нас.

## Глава 21

Испытанное мной чувство страха так захватило меня всего, что я не сознавал даже, продолжали ли мы во время этой ужасной встречи наш полет, или она остановила нас на время; я понял, что мы движемся, что мы продолжаем подниматься вверх, лишь когда предо мною снова разостлалось бесконечное воздушное пространство.

Пройдя некоторое его расстояние, я увидел над собой яркий свет; он походил, как казалось мне, на наш солнечный, но был гораздо сильнее его. Там, вероятно, какое-то царство света.

«Да, именно царство, полное владычество света, — предугадывая каким-то особым чувством еще не виданное мною, думал я, — потому что при этом свете нет теней». «Но как же может быть свет без тени?» — сейчас же выступили с недоумением мои земные понятия.

И вдруг мы быстро внеслись в сферу этого света, и он, буквально, ослепил меня. Я закрыл глаза, поднес руки к лицу, но это не помогло, так как руки мои не давали тени. Да и что значила здесь подобная защита!

«Боже мой, да что же это такое, что это за свет такой? Для меня ведь та же тьма. Я не могу смотреть и, как во тьме, не вижу ничего» — взмолился я, сопоставляя мое земное зрение и забыв, или, быть может, даже и не осознавая, что теперь такое сравнение не годилось, что теперь я могу видеть и во тьме.

Эта невозможность видеть, смотреть, увеличивала для меня страх неизвестности, естественный при нахождении в неведомом мне мире, и я с тревогой размышлял: «Что же будет дальше? Скоро ли минем мы эту сферу света и есть ли ей предел, конец?»

Но случилось иное. Величественно, без гнева, но властно и непоколебимо, сверху раздались слова: — Не готов!

И затем... затем мгновенная остановка в нашем стремительном полете вверх — и мы быстро стали опускаться вниз.

Но прежде чем покинули мы эти сферы, мне дано было узнать одно дивное явление.

Едва сверху раздались означенные слова, как все в этом мире, казалось, каждая пылинка, каждый самонаименьший атом отозвались на них своим изволением. Словно многомиллионное эхо повторило их на неуловимом для слуха, но осязательном и понятном для сердца и ума языке, выражая свое полное согласие с последовавшим определением. И в этом единстве воли была такая дивная гармония, и в этой гармонии столько невыразимой, восторженной радости, пред которой жалким бессолнечным днем являлись все наши земные очарования и восторги. Неподражаемым музыкальным аккордом прозвучало это многомиллионное эхо, и душа вся заговорила, вся беззаботно отозвалась на него пламенным порывом слиться с этой общей дивной гармонией.

## Глава 22

Я не понял настоящего смысла относившихся ко мне слов, то есть не понял, что должен вернуться на землю и снова жить так же, как раньше жил; я думал, что меня несут в какие-

либо иные страны, и чувство робкого протеста зашевелилось во мне, когда предо мной сначала смутно, как в утреннем тумане, обозначились очертания города, а затем и ясно показались знакомые улицы.

Вот и памятное мне здание больницы. Так же, как прежде, через стены здания и закрытые двери был внесен я в какую-то совершенно неизвестную мне комнату: в комнате этой стояло в ряд несколько окрашенных темной краской столов, и на одном из них, покрытом чем-то белым, я увидел лежащего себя, или вернее мое мертвое окоченевшее тело.

Неподалеку от моего стола какой-то седенький старичок в коричневом пиджаке, вода согнутой восковой свечкой по строкам крупного шрифта, читал Псалтырь, а по другую сторону, на стоявшей вдоль стены черной лавке сидела, очевидно, уже извещенная о моей смерти и успевшая приехать, моя сестра, и подле нее, нагнувшись и что-то тихо говоря — ее муж.

— Ты слышал Божие определение, — подведя меня к столу, обратился ко мне безмолвствовавший доселе мой Ангел-Хранитель, — и готовься!

И за сим, оба Ангела стали невидимы для меня.

## Глава 23

Совершенно ясно помню, что и как произошло после этих слов со мной.

Сначала я почувствовал, что меня как бы стеснило что-то; затем явилось ощущение неприятного холода, и возвращение этой утраченной мной способности чувствовать такие вещи живо воскресило во мне представление прежней жизни, и чувство глубокой грусти как бы о чем-то утраченном охватило меня (замечу здесь, к слову, что чувство это осталось после описываемого мною события навсегда при мне).

Желание вернуться к прежней жизни, хотя до этой поры в ней не было ничего особенно скорбного, ни на минуту не шевельнулось во мне; меня несколько не тянуло, ничто не влекло к ней.

Приходилось ли вам, читатель, видеть пролежавшую некоторое время в сыром месте фотографию? Рисунок на ней сохранился, но от сырости он выцвел, облинял и, вместо определенного красивого изображения, получилась какая-то сплошная бледно-рыжеватая муть. Так обесцветилась для меня жизнь, превратясь тоже в какую-то сплошную водянистую картинку, и таковою остается она в моих глазах и по ныне.

Как и почему почувствовал я это сразу — не знаю, но только она ничем не влекла меня; испытанный мной ранее ужас от сознания моего разобщения с окружающим миром теперь почему-то утратил для меня свое странное значение; я видел, например, сестру и понимал, что не могу общаться с ней, но это несколько не тяготило меня; я довольствовался тем, что сам вижу ее и знаю все о ней; во мне даже не явилось, как прежде, желания заявить как-нибудь о своем присутствии.

Впрочем и не до того было. Чувство стеснения заставляло меня все больше и больше страдать. Мне казалось, что меня словно жмут какими-то тисками, и ощущение это все усиливалось; я, со своей стороны, не оставался пассивным, делал что-то, боролся ли, стараясь освободиться от него, или делал усилия, не освобождаясь, как-нибудь сладить, одолеть его — определить не могу, помню только, что мне становилось все тесней и тесней, и, наконец, я потерял сознание.

## Глава 24

Очнулся я уже лежащим в больничной палате на койке.

Открыв глаза, я увидел себя окруженным чуть не целой толпой любопытствующих, или, выражаясь иначе: с напряженным вниманием наблюдавших меня лиц.

У самого моего изголовья, на придвинутом табурете, стараясь сохранить свое обычное величие, сидел старший врач; его поза и манеры, казалось, говорили, что все это, мол, вещь



обыкновенная, и ничего тут нет удивительного, а между тем в его устремленных на меня глазах так и сверкало напряженное внимание и недоумение.

Младший доктор — тот уже безо всякого стеснения буквально впился в меня глазами, словно стараясь просмотреть меня всего насквозь.

У ног моей койки, одетая в траурное платье, с бледным, взволнованным лицом, стояла сестра моя, подле нее — зять, из-за сестры выглядывало более других спокойное лицо больничной сиделки, а еще дальше за ней виднелась уже совсем перепуганная физиономия нашего молодого фельдшера.

Придя окончательно в себя, я прежде всего приветствовал сестру; она быстро подошла ко мне, обняла меня и заплакала.

— Ну, батенька, и задали же вы нам жару! — со свойственным молодости нетерпением поделиться поскорее пережитыми необычайными впечатлениями и наблюдениями, проговорил младший доктор. — Кабы вы знали, что с вами творилось!

— Да я отлично помню все, что происходило со мной, — проговорил я.

— Как? Неужели вы не теряли сознания?

— Стало быть — нет.

— Это очень, даже очень странно, — проговорил он, взглянув на старшего доктора. — Странно потому, что вы лежали настоящей кочерыжкой, без малейших признаков жизни, нигде ничего, ни-ни. Как же можно в таком состоянии сохранить сознание?

— Вероятно же — можно, если я и видел, и сознавал все.

— То есть видеть-то вы ничего не могли, а слышать, чувствовать. И неужели вы все — все слышали и понимали? Слышали, как вас обмывали, одевали...

— Нет, этого я ничего не чувствовал. Вообще тело мое было для меня совсем не чувствительно.

— Как же так? Говорите, что помните все, что было с вами, а ничего не чувствовали?

— Я говорю, что не чувствовал только того, что делалось с моим телом, находясь под ярким впечатлением пережитого, — проговорил я, думая, что такого пояснения вполне достаточно, чтобы понять вышесказанное мною.

— Ну-те? — видя, что я остановился на этом, проговорил доктор.

А я даже и загнулся на минуту, не зная, что же еще ему нужно от меня? Мне казалось, что все так понятно, и я снова лишь повторил:

— Я сказал вам, что не чувствовал только своего тела, следовательно всего, что касалось его, но ведь тело мое — не весь же я? Ведь не весь же я лежал кочерыжкой. Ведь прочее-то все жило и продолжало действовать во мне! — проговорил я, думая, что то раздвоение или вернее раздельность в моей личности, которая была теперь яснее Божьего дня для меня, была так же известна и тем людям, к которым я обращал мою речь.

Очевидно, я еще не вернулся вполне в прежнюю жизнь, не перенесся на точку ее понятий, и говоря о том, что знал теперь и перечувствовал, сам не понимал, что слова мои могут казаться чуть не бредом сумасшедшего для не испытавших ничего подобного и отрицавших все подобное людей.

## Глава 25

Младший доктор хотел еще что-то возразить или спросить, но старший сделал ему знак, чтобы он оставил меня в покое, — не знаю уж, потому ли, что этот покой был действительно нужен мне, или потому, что из моих слов он вывел заключение, что голова моя еще не в порядке, и поэтому нечего толковать со мной.

Убедившись, что организм мой пришел в более или менее надлежащий вид, меня послушали: отека в легких не оказалось; затем, дав мне выпить, кажется, чашку бульона, все удалились из палаты, позволив лишь сестре побыть со мной еще некоторое время.

Думая, вероятно, что напоминания о случившемся могут волновать меня, вызывая всякие страшные предположения и гадания, в роде возможности быть погребенным заживо,

и т. п., все окружавшие и навешавшие меня избегали заводить со мной об этом разговоры; исключение составлял только младший доктор.

Его, по-видимому, крайне интересовал бывший со мной случай, и он по несколько раз на день прибегал ко мне, то просто лишь взглянуть, что и как, то задать один-другой надуманный вопрос; иногда он приходил один, а иногда приводил даже с собой какого-либо товарища, по большей части студента, посмотреть на побывавшего в мертвецкой человека.

На третий или четвертый день, найдя меня, вероятно, достаточно окрепшим, или, может быть, просто потеряв терпение выжидать дольше, он, придя в мою палату, пустился уже в более продолжительный разговор со мной.

Подержав меня за пульс, он сказал:

— Удивительно: все дни пульс у вас совершенно ровный, без всяких вспышек, отклонений, а если бы вы знали, что с вами творилось! Чудеса, да и только!

Я уже освоился теперь, вошел в колею прежней жизни, и понимал всю необычайность случившегося со мной, понимал и то, что знаю о нем только я, и что те чудеса, о которых говорил доктор, есть какие-нибудь внешние проявления пережитого мной происшествия, какие-нибудь диковины с медицинской точки зрения, и спросил:

— Это когда же чудеса со мной творились? Перед тем, как я вернулся к жизни?

— Да, перед тем, как вы очнулись. Я уж не говорю о себе, я человек малоопытный, а случая летаргии до сих пор и совсем не видал, но кому я ни рассказывал из старых врачей, все удивлены, понимаете, до того, что отказываются верить моим словам.

— Да что ж собственно было со мной столь диковинного?

— Я думаю, вы знаете, — впрочем, тут и знать не надо, оно и так, само собой понятно, — что когда у человека проходит даже простое обморочное состояние, все органы его работают сначала крайне слабо: пульс едва уловить можно, дыхание совсем неприметно, сердца не слышишь. А у вас произошло что-то невообразимое: легкие сразу запыхтели, как какие-то меха исполинские, сердце застучало, что молот о наковальню. Нет, этого даже передать нельзя: это надо было видеть. Понимаете, это был какой-то вулкан перед извержением, мороз бежит по спине, со стороны становилось страшно; казалось, еще мгновение — и кусков не останется от вас, потому что никакой организм не может выдержать такой работы.

«Гм... не диво же, что я, перед тем как очнуться, потерял сознание» — подумал я.

А до рассказа доктора я все недоумевал и не знал, как объяснить то странное, как казалось мне, обстоятельство, что во время умирания, то есть, когда все замирало во мне, я ни на минуту не потерял сознание, а когда мне надлежало ожить, я впадал в обморочное состояние. Теперь же это стало понятно мне: при смерти я хотя тоже чувствовал стеснение, но в крайний момент оно разрешилось тем, что я сбросил с себя то, что причиняло его, а одна душа, очевидно, не может падать в обмороки; когда же мне следовало вернуться к жизни, я, наоборот, должен был принять на себя то, что подвержено всяким физическим страданиям, до обмороков включительно.

## Глава 26

Доктор, между тем, продолжал:

— И вы помните, что это ведь не после какого-нибудь обморока, а после полуторасуточной летаргии! Можете судить о силе этой работы по тому, что вы представляли собой замороженную кочерыжку, а спустя какие-нибудь пятнадцать-двадцать минут, ваши члены получили уже гибкость, а к часу согрелись даже и конечности. Ведь это невероятно, баснословно! И вот, когда я рассказываю, мне отказываются верить.

— А знаете, доктор, почему это случилось так необычайно? — сказал я.

— Почему?

— Вы, по вашим медицинским понятиям, под определение летаргии понимаете нечто сходное с обмороком?

— Да, только в наивысшей степени...

— Ну, тогда, стало быть, со мной была не летаргия.

— А что же?

— Я, стало быть, действительно умирал и вернулся к жизни. Если бы здесь было только ослабление жизнедеятельности в организме, то тогда бы она, конечно, восстановилась без всякой подобной «бульверсии», а так как телу моему надлежало экстренно приготовиться к принятию души, то и работать все члены должны были тоже экстраординарно.

Доктор с секунду слушал меня внимательно, а затем его лицо приняло равнодушное выражение.

— Да вы шутите; а для нас, медиков, это крайне интересный случай.

— Могу вас уверить, что я и не думал шутить. Я сам несомненно верю тому, что говорю, и хотел бы даже, чтобы и вы поверили... ну, хотя бы для того, чтобы серьезно исследовать такое исключительное явление. Вы говорите, что я ничего не мог видеть, а хотите — я вам нарисую всю обстановку мертвецкой, в которой я живым никогда не был, хотите, расскажу, где кто из вас стоял и что делал в момент моей смерти и вслед за тем?

Доктор заинтересовался моими словами, и когда я рассказал и напомнил ему, как все было, он, с видом человека, сбитого с толку, промычал:

— Н-да, странно. Какое-то ясновидение...

— Ну, доктор, это уж совсем что-то не вяжется: состояние замороженного судака — и ясновидение!

Но верх изумления вызвал в нем мой рассказ о том состоянии, в котором я находился в первое время после разъединения моей души с телом, о том, как я видел все, видел, что они хлопочут над моим телом, которое, по его бесчувствию, имело для меня значение сброшенной одежды; как мне хотелось дотронуться, толкнуть кого-нибудь, чтобы привлечь внимание к себе, и как ставший слишком плотным для меня воздух не допускал моего соприкосновения с окружающими меня предметами.

Все это он слушал, чуть не буквально разинув рот и сделав большие глаза и, едва кончил я, поспешил проститься со мной и ушел, вероятно, спеша поделиться с другими столь интересным повествованием.

## Глава 27

Вероятно, он сообщил об этом и старшему врачу, ибо этот последний, во время визитации на следующий день, осмотрев меня, задержался около моей койки и сказал:

— У вас, кажется, были галлюцинации во время летаргии. Так вы смотрите, постарайтесь отделаться от этого, а то...

— Могу с ума спянуть? — подсказал я.

— Нет, это, пожалуй, уж много, а может перейти в манию.

— А разве бывают при летаргии галлюцинации?

— Что ж вы спрашиваете. Вы знаете теперь лучше меня.

— Единственный случай, хотя бы и со мной, для меня не доказательство. Мне хотелось бы знать общий вывод медицинских наблюдений по этому обстоятельству.

— А куда же девать случай с вами? Ведь это же факт!

— Да, но если все случаи подводить под одну рубрику, то не закроем ли мы этим двери для исследования разных явлений, различных симптомов болезней, и не получится ли через подобный прием нежелательная односторонность в медицинских диагнозах?

— Да тут ничего подобного быть не может. Что с вами была летаргия — это вне всякого сомнения, следовательно и должно принять то, что было с вами, за возможное в этом состоянии.

— А скажите, доктор: есть ли какая-нибудь почва для появления летаргии в такой болезни, как воспаление легких?

— Медицина не может указать, какая именно нужна для нее почва, потому что она приключается при всяких болезнях, и даже бывали случаи, что человек впадал в летаргический сон без предшества какой-либо болезни, будучи по-видимому совершенно здоров.

— А может пройти сам по себе отек легких во время летаргии, то есть в то время, когда сердце его бездействует и, следовательно, увеличение отека не встречает никаких препятствий для себя?

— Раз это случилось с вами — стало быть, это возможно, хотя, верьте, отек прошел, когда вы уже очнулись.

— В несколько минут?

— Ну, уж в несколько минут... Впрочем, хотя бы и так. Такая работа для сердца и легких, какова была в момент вашего пробуждения, может, пожалуй, и лед на Волге взломать, не то что разогнать какой угодно отек в короткое время.

— А могли стесненные, отекавшие легкие работать так, как они работали у меня?

— Стало быть.

— Следовательно, ничего удивительного, поразительного в приключившемся со мной нет?

— Нет, почему же! Это, во всяком случае... редко наблюдаемое явление.

— Редко, или в такой обстановке, при таких обстоятельствах — никогда?

— Хм, как же никогда, когда это было с вами?

— Следовательно, и отек может пройти сам по себе, даже когда все органы у человека бездействуют, и стесненное отеком сердце, и отекавшие легкие могут, если им вздумается, работать на славу; казалось бы, от отека легких и умирать нечего! А скажите, доктор, может ли человек очнуться от летаргии, приключившейся во время отека легких, то есть может ли он вывернуться зараз от двух таких... неблагоприятных казусов?

На лице доктора появилась ироническая улыбка.

— Вот видите: я предупреждал вас не даром относительно мании-то, — проговорил он. — Вы все хотите подвести бывший с вами случай под что-то другое, а не летаргию, и задаете вопросы с целью...

«С целью убедиться, — подумал я, — кто из нас маньяк: я ли, желающий выводами науки проверить основательность сделанного тобой моему состоянию определения, или ты, подводящий, быть может, вопреки даже возможности, все под одно имеющееся в твоей науке наименование?»

Но громко я сказал следующее:

— Я задаю вопросы с целью показать вам, что не всякий, увидав порхающий снег, способен, вопреки указаниям календаря и цветущим деревьям, во что бы то ни стало утверждать, что стало быть зима, потому лишь, что по науке снег значит принадлежностью зимы; ибо сам я помню, как однажды выпал снег, когда по календарному счислению значилось двенадцатое мая и деревья в саду моего отца были в цвету.

Этот мой ответ, вероятно, убедил доктора, что он опоздал со своим предупреждением, что я уже впал в «манию», и он ничего не возразил мне, а я не стал больше ни о чем спрашивать его.

## Глава 28

Я привел этот разговор для того, чтобы читатель не обвинил меня в непростительном легкомыслии, что я по горячим, так сказать, следам не обследовал научно бывшего со мной необычайного случая, тем более что произошел он при такой благоприятной для сего обстановке. Ведь и в самом деле, на лицо были два лечившие меня врача, два врача — очевидца всего случившегося, и целый штат больничных служащих различных категорий! И вот по приведенному разговору читатель может судить, чем должны были окончиться мои «научные обследования». Что я мог узнать, чего добиться при таком отношении к делу? Мне

многое хотелось узнать, хотелось для соображений подробно узнать и понять весь ход моей болезни, хотелось узнать: было ли хотя на йоту вероятности в том, что отек у меня мог всосаться в то время, когда сердце у меня бездействовало и кровообращение, повидимому, окончательно прекратилось, так как я окоченел? Басне, что он прошел у меня в несколько минут, когда я уже очнулся, одинаково мудро было верить, потому что тогда все равно являлась непонятной такая деятельность стесненных отеком сердца и легких.

Но после подобных вышеприведенных попыток я оставил моих врачей в покое и перестал расспрашивать их, потому что все равно и сам не поверил бы правдивости и безпристрастности их ответов.

Пробовал я и впоследствии «обследовать научно» этот вопрос; но результат получился почти тот же; я встречал такое же апатичное отношение ко всяким самостоятельным «обследованиям», такое же рабство мысли, такой же малодушный страх перешагнуть за черту очерченного наукой круга.

А наука... Ах, какое тут постигло разочарование! Когда я спрашивал: возможно ли человеку, впавшему в летаргию при наступившем после воспаления легких отеке очнуться, или наблюдались ли в медицине и возможны ли по закону природы вообще такие случаи, чтобы во время летаргии больной совершенно выздоравливал от болезни, весь ход которой и финал являлись, по мнению врачей, вполне естественно и правильно наступившей смертью, мне обыкновенно сразу отвечали отрицательно. Но сейчас же, при дальнейших моих вопросах, уверенный тон переходил в гадательный, появлялись разные «впрочем», «знаете», и т. п. О том, что это было со мной, конечно, нечего было и заикаться. Тут уж сразу, без малейшей запинки, выплывало всеподданейшее пред наукой и всеобъемлющее и всеудовлетворяющее ученых: «раз это было с вами...», и проч. И никакого недоумения, удивления, что указывало на полнейшее отсутствие уверенности и обоснованности того, что говорилось за четверть часа перед тем. Меня, как не посвященного в тонкости этой науки, да еще на беду привыкшего рассуждать, ужасно злило это, и я не раз с горячностью спрашивал, ставя вопрос ребром: — Но скажите, пожалуйста, пусть летаргия явление редкое, пусть сама она мало наблюдалась, мало исследована, но неужели же в ваших законоположениях о жизни организма нельзя найти сколько-нибудь определенного ответа на подобные вопросы?

Но тут приходилось убедиться, что это «научное законоположение для жизни организма» имело под собой столько же незыблемой почвы, как и гипотеза о происхождении каналов на Марсе и бываемых там наводнениях. Да и чего уж было в сущность сущностей забираться, когда даже на мой вопрос, бывают ли (я уже не спрашивал — возможны или невозможны, так как тут опять требовалось самостоятельное мышление и умозаключение) при летаргии галлюцинации, я не получил прямого ответа.

И пришлось мне самому братья за собиание тех сведений, какие я хотел найти готовыми в науке, и собирал я их, особенно в первое время, весьма усердно, во-первых, потому, что мне хотелось уяснить самому себе, что должно понимать под словом «летаргия» — глубокий ли сон, обморок, одним словом такое состояние, когда жизнь в человеке как-бы замирает, но не покидает его совсем, или такое представление медицины неверно и в сущности со всяким впавшим по нашему определению в летаргию происходит то же, что было и со мной. А во вторых, я предвидел, конечно, то недоверие (откровенно говоря, совсем бессмысленное и неосновательное, так как научно нельзя ведь доказать невозможности такого явления), какое будет встречать мой рассказ и какое он несомненно вызовет и теперь, и будучи сам горячо убежден в происшедшем со мной, желал найти подтверждение основательности моей убежденности в наблюдениях и возможных исследованиях данного обстоятельства.

## Глава 29

Итак, какой же результат дали мои исследования, что же именно было со мной? Несомненно то, что я и писал, то есть, что душа моя покинула на время тело, и затем,

Божьим определением, вернулась в него. Ответ, могущий, конечно, иметь двойное к себе отношение: безусловно невозможный для одних и вполне вероятный для других, в зависимости от внутреннего устройства, от мирозерцания человека. Для того, кто не признает существования души, недопустим даже вопрос о каком-либо правдоподобии такого определения. Какая душа может отделиться, когда ее и нет вовсе? Желательно только, чтобы такие мясники обратили внимание на то, что в человеке может видеть, слышать, одним словом, жить и действовать тогда, когда тело его лежит окоченелым и совершенно бесчувственным. А кто верит, что в человеке помимо физического состава, физических отправлений, есть и еще какая-то сила, совершенно от сих последних независимая, для того в подобном факте нет ничего невероятного. А верить этому, думается, и гораздо разумнее и основательнее, ибо если не эта сила одухотворяет, дает жизнь нашему телу, а сама лишь является продуктом деятельности этого последнего, то тогда уж совершенной нелепостью является смерть. Чего ради должен я верить в логичность таких явлений, как старость, разрушение, когда потребный для питания и обновления моего организма обмен веществ в моем теле не прекращается? Когда я обращался с моим рассказом к духовным лицам разных иерархических степеней, а между ними были и люди очень умные, все они единогласно отвечали мне, что в бывшем со мной происшествии нет ничего невероятного, что повествования о подобных случаях имеются и в Библии и в Евангелии, и в житиях святых, и в своих благих и премудрых целях Господь допускает иногда такие предвосхищения души, дает по мере ее способностей — одной созерцать больше, другой меньше из того таинственного мира, в который всем нам предстоит неизбежный путь. Прибавлю здесь от себя, что иногда цель таких откровений бывает сразу ясна и понятна, иногда остается сокрытой и настолько, что откровение кажется как бы беспричинным, ничем не вызванным, а иногда лишь через долгий промежуток времени или какими-нибудь окружными путями обозначается его необходимость.

Так, в перечитанной мной литературе по этому предмету я попал на случай, где только для правнука подобное обстоятельство явилось грозным и столь властно, неотразимо воздействовавшим на него предостережением, что он не колеблясь отказался от самоубийства, от которого дотоле ничего не могло отвратить его. Очевидно, в род этот необходимо было пролить такое знание, но кроме прабабки спасенного этим знанием юноши, вероятно, никто не способен был воспринять его, и оттого и лег такой долгий промежуток времени между откровением и его применением. Такова духовная, религиозная сторона этого обстоятельства. Перейдем к другим. Здесь я встретил много такого, что могло лишь подтвердить мою веру, и ничего такого, что бы ее опровергло.

## Глава 30

Прежде всего, из всяких справок и всего перечитанного мной по этому предмету я узнал, что галлюцинаций в летаргии по существу быть не может, что впавший в летаргический сон или ничего не слышит и не чувствует, или чувствует и слышит лишь то, что в действительности происходит вокруг него, и медицинское наименование такого состояния «сном» совершенно неправильно. Это скорей какое-то оцепенение, парализация, или, как еще подходяще выражается наш простой народ, «обмирание», которое в зависимости от степени его силы иногда распространяется на все мельчайшие отправления, на всю тончайшую работу организма, и в таком случае, само собой разумеется, ни о каких сновидениях и галлюцинациях речи быть не может, так как всякая деятельность мозга бывает так же парализована, как и прочих органов. При более же слабой степени оцепенения больной чувствует и сознает все вполне правильно, мозг его находится в совершенно трезвом состоянии, как у бодрствующего и совершенно трезвого человека, и, следовательно, этому страшному недугу совсем несвойственно, даже и в малой мере, на подобие хотя бы сна или легкого забытья, омрачать сознание.

Далее несомненно веским, хотя быть может и не для людей «положительных» наук, но

для людей просто со здравым смыслом и трезвым отношением к вещам, доказательством того, что бывающие в подобных приключившимся со мной обстоятельствах видения не суть бред, галлюцинация, а действительно ими пережитое, служит их сила и реальность. Думаю, каждый из нас знаком с какими-нибудь яркими сновидениями, бредом, кошмаром и тому подобными явлениями, и каждый по себе может проверить, насколько продолжительны обыкновенно оставляемые ими впечатления. Обыкновенно они бледнеют и рассеиваются вслед за пробуждением, если дело идет о сновидении или кошмаре, или при наступившем переломе к выздоровлению, в случае бреда, галлюцинаций. Достаточно человеку прийти в себя, как он сейчас же отделяется от их власти и сознает, что это был бред или кошмар. Так я знал одного горячечного, который, спустя час после кризиса, со смехом рассказывал о пережитых им страхах в бреду; несмотря на очень сильную еще слабость, он уже смотрел на едва минувшее глазами здорового человека, сознавал, что это был бред, и воспоминания о нем не вызывали уже в нем страха. Совсем иное то состояние, о котором я веду речь. Я никогда ни на одно мгновение не усомнился в том, что все виденное и испытанное мной в те часы, которые протекли, выражаясь языком докторов, от моей «агонии» и до «пробуждения» в мертвецкой, были не грезы, но столь же реальная быль, как и моя теперешняя жизнь и окружающая обстановка. Меня всячески старались сбить с этой уверенности, оспаривали подчас даже и до смешного, но можно ли заставить усомниться человека в том, что для него так же действительно и памятно, как прожитый вчерашний день. Попробуйте уверить его, что он вчера спал весь день и видел сны, когда он отлично знает, что пил чай, обедал, ходил на службу и видел известных людей.

И заметьте, что я здесь не представляю исключения. Перечитайте или прослушайте повествования о таких случаях, и вы увидите, что подобные откровения загробного мира имели иногда, очевидно, чисто личную цель, и в таких случаях лицу, получившему их, запрещалось рассказывать о виденном (в известной части) другим, и хотя бы это лицо проживало после того десятки лет, какой бы это ни был легкомысленный, слабохарактерный человек, ни ради чего, ни даже самым близким и дорогим ему людям он не открывал тайны. Из этого ясно, насколько свято было для него полученное приказание, и что оно во всю жизнь, стало быть, сохраняло характер несомненной действительности, а не продукт его расстроенного воображения. Известно также, что после подобных случаев отъявленные атеисты становились и оставались во всю последующую жизнь глубоко верующими людьми.

Что же это за странность, что за исключительность такая? Каким образом вполне здоровый человек, каким, например, я знаю себя, может, вопреки общему закону для подобных вещей, во всю жизнь оставаться под воздействием какого-то кошмара, галлюцинаций, и даже больше того: как что-либо подобное может изменить его самого, его мирозерцание, когда и житейский опыт, и самые ошеломительные катастрофы в этой нашей действительной жизни сплошь да рядом являются бессильными произвести подобную перемену в человеке?

Очевидно, тут дело не в летаргии и галлюцинациях, а в действительно пережитом и испытанном. И принимая во внимание общую склонность людей к забвению, вследствие чего сложилась и фраза: «время исцеляет все», всякие потери, пережитые катастрофы, сердечные раны, не доказывает ли такая необычайная, исключительная памятьливость, что переживший подобное происшествие человек действительно переступил через ту грозную для нас и величайшего значения грань, за которой времени и забвения уже не будет, и которую мы называем смертью?

## Глава 31

Нужно ли здесь повторять и все другие необычайности бывшего со мной происшествия? Куда, в самом деле, девался мой отек — и отек, как должно думать, очень значительный, если у меня сразу так понизилась температура и он так залил мои легкие, что я ничего не мог выхаркать, несмотря на все способствующие тому средства, хотя и грудь моя

была переполнена мокротой? Как разошелся, во что всосался он, когда и кровь моя застыла? Каким образом могли так правильно и сильно заработать мои отекавшие легкие и сердце, если отек оставался у меня до пробуждения? Очень мудрено при наличии таких условий верить, чтобы я мог очнуться и остаться живым, не чудом, а естественным путем. Не очень-то часто выпутывается больной из отека легких, даже и при более благоприятной обстановке. А тут, нечего сказать, хороша обстановка: медицинская помощь оставлена, самого обмыли, нарядили, и вынесли в нетопленную мертвецкую! И потом, что же это за непостижимое явление? Я видел и слышал не какие-нибудь создания моей фантазии, а что в действительности происходило в палате, и отлично понимал все это, стало быть, я не бредил и вообще был в полном сознании, и в то же время, имея умственные способности в порядке, я вижу, чувствую и сознаю себя раздвоившимся, — вижу лежащее на койке свое бездыханное тело, и вижу и сознаю, помимо этого тела, другого себя, и сознаю странность этого обстоятельства, и понимаю все особенности новой формы моего бытия. Потом я вдруг перестаю видеть, что происходит в палате. Почему же? Потому ли, что умственная деятельность моя погружается в настоящую нирвану, что я окончательно теряю сознание? Нет, я продолжаю видеть и сознавать окружающее меня и не вижу происходящего в больничной палате только потому, что я отсутствую, а как возвращусь, я снова по-прежнему буду видеть и слышать все, но уже не в палате, а в мертвецкой, в которой я при жизни никогда не был. Но кто же это мог отсутствовать, если в человеке нет, как самостоятельного существа, души? Как могла отделиться совершенно душа от тела, если здесь не произошло того, что на нашем языке называется смертью? Да и какая охота была мне, в наш век неверия и отрицания всего сверхчувственного, говорить о таком невероятном факте и доказывать его истинность, если бы все не произошло и не было для меня так явственно, осязательно и несомненно? Это потребность человека, не верующего только, но уверенного, — уверенного в истинности православного учения о смерти, исповедь человека, чудесным образом излеченного от бессмысленного, грозного и слишком распространенного в наше лукавое время недуга неверия в загробную жизнь.

## Глава 32

Сказал Господь устами праведного Авраама в притче о богатом и Лазаре: Если Моисея и пророков не послушают, то если бы кто и из мертвых воскрес — не поверять. Пусть читатели вдумаются в этот рассказ, и они убедятся, как верны и непреложны эти словеса Господни и в наше время. Люди, не слушающие, не исполняющие животворящих заповедей Господних, в священных книгах пророками и Апостолами записанных, делаются неспособными верить и тому, что поведает человек, действительно из мертвых воскресший. Таково сердце человеческое, грехом омраченное: имея уши — человек не слышит!

## Антоний Сурожский. Жизнь, болезнь, смерть

(Митрополит Антоний Сурожский отвечает на вопросы руководителя религиозной программы русской службы Би-би-си «Воскресение» протоиерея Сергия Гаккеля, с которым Владыку связывает почти полувековая дружба. Запись сделана в период с октября 1993 по январь 1994 года.)

### Пастырь у постели больного

— Владыко, ты работал врачом и после пострига. Насколько при необходимости каждый пастырь должен быть не только духовником, но и сиделкой, и врачом у постели



больного, умирающего?

— Что бы ни думал священник о своей роли, ему эта роль как бы предписана и навязана жизнью, потому что если он пастырь, то есть реально заботится о тех людях, которых Бог ему поручил, то его непременно будут призывать, когда возник какой-то кризис, будь то болезнь, будь то наступающая смерть кого-нибудь в семье. И болезнь — один из самых серьезных кризисов, потому что она ставит человека перед лицом целого ряда положений, о которых здоровый большей частью не думает. Во-первых, болезнь ему ясно говорит о том, что он смертный. Я говорю не о преходящей простуде, но когда человек заболевает сколько-нибудь серьезно, то — справедливо или нет вкрадывается мысль: значит, я над собой не имею власти, я не могу помешать болезни мною овладеть; значит, я не смогу, если она мною овладеет до конца, избежать смерти... Это первый вопрос, который, может быть, не так ярко формулируется, но что-то такое проникает в сознание человека.

— То есть он не только нуждается тогда в пастыре, но и особенно открыт?

— Он особо открыт, если пастырь сумеет ему помочь эти переживания высказать. Если пастырь к нему подойдет и будет говорить: Вот, вы сейчас заболели, вы должны понять, что за болезнью, может быть, смерть идет... то, конечно, человек замыкается. У меня был опыт в этом отношении.

Во время войны в нашей части был католический священник, который считал, что всякий раненый солдат или офицер может умереть в любую минуту, и единственная его, как пастыря, задача, — раненого отысповедовать и причастить: раз он причащен, пусть умирает себе спокойно... Он приходил к каждому раненому, становился у ног постели и долго на него смотрел. Через некоторое время этот несчастный начинал ерзать, тревожиться: «А в чем дело, почему вы на меня там смотрите?» — «Ты же ранен; ты смотрел свою температуру?» — «Да». — «Плохая она». — «Доктора говорят, что это естественно...» — «Доктора всегда так говорят, чтобы успокоить больного. Ты же знаешь, что можно и от небольшой раны умереть, если она загноится...» И так он продолжал разговор, пока не загонял несчастного раненого в угол; исповедовал, причащал — и уходил, говоря мне (тогда — врачу): теперь ваше дело, я все свое сделал... Конечно, если священник будет так подходить к несчастному больному, то он его только напугает, тот закроется. И слишком часто, когда священник навещает больного, это рассматривают как предостережение: быть может, смерть у порога.

Но если священник имеет опыт болезни, либо потому что сам болел, либо потому что сумел видеть тех людей, которые болеют вокруг него (видеть — не так просто, это не зависит от того, что у тебя глаза есть; надо уметь посмотреть), то и тогда есть целая — ну, не наука, а искусство. Наши отношения с людьми должны быть таковы, чтобы наш приход в дом воспринимался просто и с радостью. Это означает, что пастырское попечение о больных должно начинаться, когда люди здоровы, начинаться с установления простых, дружеских отношений.

Для того, чтобы так, душевно подойти к человеку, нужно громадное внутреннее целомудрие, нужно быть в состоянии посмотреть на человека как на икону, на живую икону, к которой ты подходишь с глубоким уважением, с благоговением, и по отношению к которой ты будешь действовать, как действовал бы в храме по отношению к писаной иконе. То есть — молитвенно, благоговейно, чутко, смиренно, трепетно и прислушиваясь изо всех сил к тому, что в человеке есть, что он может сам сказать; но и к тому, что Дух Святой в нем совершает. Внутреннее молчание священника, его способность встречать человека на какой-то глубине очень важна, потому что болезнь — это момент изумительной встречи с человеком.

— Интересно, что ты говоришь о молчании. Значит, вопрос не только в слове, не только во внешнем подходе, но во внутреннем отношении к человеку, которое может поддержать и озарить больного. Отношение — самое главное?

— Самое главное — отношение и твое присутствие, так, чтобы больной не чувствовал, что ты только ждешь момента, когда сможешь уйти по другим делам.

Мне вспоминается один случай. Я одно время работал в психиатрической клинике;

один больной провел там шесть месяцев и ни разу ни слова не ответил ни врачу, ни сестрам, ни пришедшим родным. Я, припомнив беседу с одним психиатром, попросил начальника отделения дать мне возможность с ним сидеть. Я с ним сиживал три, четыре, пять, шесть часов подряд без единого слова, — я просто сидел, и он сидел. После десяти дней или двух недель он вдруг ко мне обратился и сказал: «Зачем вы все эти дни и часы со мной сидите, в чем дело?..» И с этого началось его выздоровление, благодаря тому, что он смог с кем-то заговорить. Это психопатологический случай. Не все мы патологические случаи в таком же смысле, но все мы замкнуты в себе. У каждого из нас есть сердцевина, которую мы боимся открыть другому человеку. А вместе с тем, если мы не откроемся (я не говорю о тех глубинах, куда только Бог имеет право заглянуть), если человек не приоткроет тех глубин, где происходит внутренняя борьба между светом и тьмой, между жизнью и смертью, между добром и злом, то твое священническое присутствие с точки зрения его болезни никакой пользы не принесет.

У меня есть близкий пример тому, правда, еще из моей врачебной работы. Помнится, на войне, во время первых боев, привели одиннадцать раненых солдат. Это был мой первый контакт с людьми прямо с поля битвы. На их лицах еще был ужас, страх. Я подумал: я должен как можно скорее сделать для них для каждого — что могу, чтобы следующий не ждал слишком долго... Я работал как можно быстрее и отправлял их в больничную палату. Потом пошел туда и обнаружил, что я ни одного из них не могу узнать: ведь я смотрел на их раны — на грудь, на ноги, на живот, на плечи, а на лица не смотрел, никто из них не был ранен в лицо. И они все оставались в состоянии шока, потому что они его не изжили. Когда была приведена следующая группа раненых, я, наученный первым опытом, решил, работая руками, с ними разговаривать (можно сделать руками очень многое, пока говоришь и смотришь на человека). Я каждому смотрел в лицо и задавал вопросы; потом, глядя, конечно, на свои руки и на его раны, делал то, что надо. Я спрашивал: Как тебя зовут? где тебя ранило? очень ли было страшно?.. — вопросы незатейливые, но такие, чтобы раненый успел за то время, пока я им занимаюсь, вылить свой страх, вылить свой ужас. И когда я потом посетил палату, во-первых, я всех раненых узнавал в лицо, и во-вторых, обнаружил, что шок у них прошел, потому что за наш короткий разговор они успели вылить свои чувства.

— Все, что ты говоришь, указывает на другой темп жизни. У постели больного нельзя так действовать, как в обычной жизни, — не на все вопросы надо отвечать, надо говорить не с такой быстротой, не на все ожидать ответа... Надо очень осторожно и мудро и смиренно подходить к такому человеку...

— Я совершенно уверен в этом. Инициатива в каком-то отношении должна идти от больного, а не от тебя. Ты должен быть настолько углубленно-молчалив и открыт, чтобы больной мог в любую минуту с тобой заговорить. Важнее всего, больше всего помогает (и научиться этому трудно) способность сесть и пребыть тут, в полном покое. Это подразумевает две вещи. С одной стороны, это надо делать так, чтобы тот, о ком вы заботитесь, сознавал, что вы пришли на неограниченное время, вы не спешите, вы совершенно присутствуете. Ведь вы прекрасно знаете, как выглядит посещение, если человек присаживается, и по его лицу явно, что у него десять минут времени, и он ждет, чтобы они прошли, и он мог бы сказать: «Ну, мне пора!» Так часто мы озираемся вокруг, смотрим по сторонам, и тот человек, которого мы будто бы пришли навестить, чувствует, что на самом деле мы вовсе не с ним. Физически — да, мы тут, но мысли наши разбегаются, мы думаем о предыдущем или о следующем пациенте, или о чем-то, что мы должны были или собирались сделать. Если вы кого-то посещаете, пусть ему будет совершенно ясно, что все время, каким вы располагаете — пусть пять минут — принадлежит ему совершенно безраздельно, что в эти пять или сколько-то минут ваши мысли не будут заняты ничем другим, что нет на свете человека более значительного для вас, чем тот, с кем вы находитесь.

И кроме того, умеете молчать. Пусть болтовня отступит, даст место глубокому, собранному, полному подлинной человеческой заботливости молчанию. Молчанию научиться нелегко. Сядьте, возьмите больного за руку и скажите спокойно: Я рад побыть с

тобой... И замолчите, будьте с ним, не воздвигайте между вами целый мир незначительных слов или поверхностных эмоций. Пусть ваше посещение будет ему в радость, пусть он знает, что и для вас быть с ним — радость. И вы обнаружите то, что я не раз обнаруживал за последние 30–40 лет: в какой-то момент люди становятся способными говорить, — говорить серьезно, говорить глубинно, произносить то небольшое, что сказать стоит. И вы обнаружите нечто еще более поразительное: что вы и сами способны говорить именно так.

— Тут нужно большое терпение и большое смирение!..

— Видишь ли, у меня нет ни терпения, ни смирения, но у меня есть усидчивость. Я думаю, что если у священника хватит просто честности сказать: я ничего не могу сделать, кроме того, чтобы прийти, сесть и ждать, что будет — и то будет на пользу. Нет ничего более разрушительного для душевного состояния человека, как священник, который придет, сядет и смотрит на часы. Может быть, вы спешите, может быть, вам надо попасть еще куда-то, но тот, с кем вы сидите, должен чувствовать, что все то время, которое вы проведете с ним, вы думаете только и исключительно о нем. Следует научиться видеть человека и слышать его. И в течение всего разговора воспринимать не только слова, но и выражение глаз, лица и голоса. Мы, может быть, услышим очень мужественные слова, произнесенные со страхом в голосе. И мы должны быть в состоянии ответить на страх или на невысказанный вопрос, скрытый за словами, а не только на произнесенные слова. Смотря по тому, каковы отношения с данным человеком, можно действовать по-разному. Если вы близко знакомы, можно сказать: «Нет, будь правдив, не притворяйся. Давай говорить прямо: ты боишься — в чем дело?» Если вы знакомы не так близко или если отношения не так глубоки, следует найти способ дать человеку понять, что мы понимаем его состояние, не рана его. У нас должно быть мужество и такт, которые позволят больному заговорить о своих страхах, потому что одна из самых тяжелых вещей для него — это лежать, замкнувшись в свое одиночество, которое создается тем, что он не решается высказаться. Многие, думая, что смертельно больны, боятся задать вопрос, потому что страшатся ответа. И первое посещение больного может стать началом правдивых отношений.

Еще один момент отношений с больным (это затрагивает не столько священника, сколько все окружение человека, очень широко) — это обычай навещать больных. Для больного такие посещения могут быть большим благодеянием, но могут оказаться сущим бедствием. Я знаю, Евангелие учит нас, что посещать больных — добродетельно. Но я знаю также, что применять евангельские советы и заповеди следует с большой рассудительностью, руководствуясь любовью; и очень часто любовь, которую мы вкладываем в свое посещение больного, можно было бы выразить куда как лучше, предоставив ему возможность побыть в покое. Мне случалось болеть, и чтобы не стать жертвой милосердия друзей, я вешал на дверь записку, которая многих задела; она гласила: Вот случай из жизни святого Арсения Великого. Одна знатная женщина добралась из Константинополя в пустыню, чтобы посетить его, и сказала: Отче, дай мне заповедь, которую я бы выполняла всю жизнь! Арсений ответил: Вот тебе заповедь; и помни, что ты обещалась никогда не нарушить ее: когда услышишь, что Арсений в одном месте, сразу удались в другое... Кроме того, что порой именно любовь должна нас удерживать от посещения тех, кто прекрасно и счастливо мог бы обойтись без наших утомительных, расслабляющих визитов, очень часто посетитель мог бы содействовать поправке больного, помогая ему быть собранным, серьезным, полностью владеть той силой жизни, которая в нем есть, помогая не быть рассеянным, опустошенным, не разбрасываться.

Вы сами знаете, как опустошительны некоторые разговоры, как нас истощают некоторые посетители. Вот чему, я думаю, должны научиться и молодые, и немолодые священники, вот чему следует учить врачей, сестер, родственников: одна из вещей, которая может погубить встречу или посещение больного, — это пустая болтовня, пустословие, потому что болтовней, словно ширмой, часто пользуется человек, чтобы защититься от необходимости быть серьезным, высказать свою тревогу, быть правдивым и истинным. Постоянное суесловие открывает этому большие возможности, и пациент становится все

менее реальным, он все меньше в состоянии справиться с жизнью, с болезнью, с собственным выздоровлением.

— Как научиться этому трудному делу молодому священнику, еще не обогащенному ни жизненным, ни пастырским опытом?

— Надо стать, как музыкальная струна, которая сама не издаст звука, но как только к ней прикоснется палец человека, она начинает звучать, — петь или плакать. Этому должен научиться всякий человек, на этом основаны все человеческие отношения. Если врач так относится к больному, если священник так относится к пасомому — больному или не больному — то создаются совершенно новые отношения.

— Мы столько говорим о встрече священнослужителя с больным и еще ни слова не сказали о таинствах. Это, наверное, удивит того священнослужителя, который как-то готовился к тому, чтобы быть требоисполнителем?

— Я думаю, что одна из задач священника — сделать больного восприимчивым к таинству. Таинство не является магическим способом исцелить или очистить человека. Конечно, в таинстве есть объективная сила, объективная реальность, но человек может ее получить и схоронить. Отец Георгий Флоровский мне как-то сказал, что когда мы крестим ребенка, мы словно вкладываем зернышко в глубины той почвы, которую он представляет. Но если оно не будет возвращено, оно может так лежать до конца жизни. И больной не обязательно открыт. Я больше скажу: часто больной замыкается, потому что боится (знаешь, существует множество нелепых предрассудков), что если ты ему предложишь причаститься, это значит, что ты в нем видишь умирающего.

Кажется, митрополит Платон (Левшин) написал, что не лишение таинств, а презрение к таинствам отнимает у человека благодать. С другой стороны, помнится, святой Иустин Философ говорит, что достаточно было бы причаститься один раз в жизни, потому что, как говорит апостол Павел, дары Божий неотъемлемы. Но нам приходится возвращаться к таинствам, потому что мы теряем в своих глубинах то, что там лежит, словно клад. И если нет возможности получить таинство, приобщиться к тем или другим таинствам, то мы можем, как Феофан Затворник говорит, в себя углубиться и приобщиться тому, что нам уже дано, что в нас уже лежит, как драгоценный плод.

Поэтому не надо «пугать» человека: «Вот, я тебя причащу, потому что кто знает — может быть, ты сегодня ночью умрешь...» (ведь это так воспринимается больным человеком), а надо его успокоить и постепенно довести до его сознания, как было бы замечательно для него, чтобы все его духовные силы собрались воедино вокруг таинства причащения, — причем не безусловно, а как результат очищения совести.

Мне сейчас вспомнилась одна женщина, которую я напутствовал сорок лет тому назад. Она умирала и просила ее причастить. Я сказал, что она должна исповедоваться. Она исповедалась, и в конце я ее спросил: «А скажите, не остается ли у вас на кого-нибудь злоба? есть ли кто-нибудь, кого вы не можете простить?» Она ответила: «Да. Я всем прощаю, всех люблю, но своему зятю я не прощу ни в этом мире, ни в будущем!» Я сказал: «В таком случае я вам ни разрешительной молитвы не дам, ни причащения». — «Как же я умру не причащенной? я погибну!..» — Я ответил: «Да! Но вы уже погибли — от своих слов...» — «Я не могу так сразу простить...» — «Ну, тогда уходите из этой жизни непрощенной. Я сейчас уйду, вернусь через два часа. У вас впереди эти два часа для того, чтобы примириться — или не примириться. И просите Бога, чтобы за эти два часа вы не умерли». Я вернулся через два часа, и она мне сказала: «Знаете, когда вы ушли, я поняла, что со мной делается. Я вызвала зятя, он пришел, мы примирились». Я ей дал разрешительную молитву и причащение.

Но нельзя рассчитывать, что причащение тебя исцелит автоматически. Мы знаем из собственной жизни: мы все, не «люди» вообще, а мы все причащаемся и разве можно сказать, что мы делаемся святыми? Мы ведь недостаточно изменяемся...

И таинство елеосвящения не направлено специально на исцеление тела. Если посмотреть на подготовку, видно, что человек должен сначала принести исповедь за всю

жизнь. А исповедь всей жизни не означает, что вы принесете список всего, что случилось за прошедшие шестьдесят лет; это означает, что вы проделаете целый путь, расчистите все, что было недолжного. Из молитв на елеосвящении ясно, что мы ожидаем исцеления души, которое, даст Бог, перельется и принесет исцеление и телу. Я думаю, что неверно прибегать к таинству елеосвящения с единственной целью — получить телесное здравие; это не некое «клерикальное лечение», это — подлинное проявление пастырского попечения. В процессе подготовки человека, помогая ему обрести вновь цельность, целостность души и духа, мы, может быть, обнаружим, что он сможет сказать: я чувствую себя настолько преображенным, что мне уже не важно, жив я или умру, получу ли физическое исцеление или нет...

— Священник приходит к незнакомому и совершенно не подготовленному человеку. Его надо готовить к смерти. Как тогда поступать? Скажем, человек был крещен, но только формально, или, может быть, недавно крещен. То есть в смысле церковном мы «имеем право» доступа, но какой-то внутренней подготовки у него нет. Здесь как действовать?

— Я думаю, что не надо священнику накидываться на больного хищным зверем и думать: «Вот, я теперь за него возьмусь и то или другое сделаю», а надо, чтобы сначала установились нормальные человеческие отношения между священником и больным. И это возможно, если священник готов посидеть, расспросить больного о его жизни, поделиться своей жизнью, и в рассказе о своей жизни, о своем опыте, о том, что он встречал, сказать нечто наводящее или помогающее. Я несколько раз, общаясь с умирающими, рассказывал им, как моя мать умирала, потому что это настолько мне близко, что человек, слушая меня, не мог думать, будто я сказки ему рассказываю для его пользы. И, делясь с человеком тем, что я сам пережил, я ему давал возможность и пережить нечто, чего он не переживал раньше, и понять что-то, и почувствовать, что он может об этих вещах говорить. Очень часто человек тяжело больной или знающий, что над ним смерть висит, боялся об этом говорить, словно опасаясь, что навлечет на себя смерть, если начнет о ней говорить вслух.

Помню, я навещал очень испуганного человека, который противился всякой попытке установить простое, прямое общение. Тогда я прибегнул к такому приему, — я сказал: «Как замечательно, что вам не грозит смерть или серьезное заболевание...» И по ходу разговора стал рассказывать о том, как умирала моя мать. У женщины, с которой я сидел, был рак, как и у моей матери. Мы долго говорили обо всем, что составляло наши с матерью переживания, и в конце концов и эта женщина спросила: «Как вы думаете, я сумела бы встретить смерть так же, как ваша мать?» И тут мы смогли заговорить о ней самой, а не о моей матери.

Очень важный момент: надо ли предупреждать больного о грядущей смерти? Во-первых, надо, чтобы сказал очень близкий человек, а не просто сестра милосердия, доктор или кто попало — по должности. И во-вторых, надо, чтобы тот, кто это скажет, не уходил сразу. Легче всего сказать и бежать. Я как-то был на съезде докторов, сестер милосердия и студентов-медиков, где обсуждался этот вопрос, и одна старшая сестра описывала, что она делает в таких случаях. Она говорила: я прихожу и сообщаю больному, что иного исхода, кроме смерти, нет. Человек на меня смотрит с ужасом, и я сразу говорю ему (по ее словам, «чтобы как-то разрядить обстановку»): «Вот, я сейчас вам приготовлю хорошую чашку чая, и мы с вами посидим, поговорим», — и ухожу... И человек, которому нанесли этот страшный удар, — потому что редко кто ждет смерти, как ее ждал апостол Павел, ждут святые — остается лицом к лицу со смертным приговором, а сестра милосердия будет подольше возиться с чаем, чтобы вернуться только тогда, когда будет немножко легче. Вот этого никогда никто не смей делать! В таких случаях надо, как я сказал, сесть и побыть с человеком, и только тогда уйти, когда что-то развязалось внутренне. Когда скорбь стала общей, когда любовь победила, когда надежда на какой-то срок времени в руках, — тогда можно уйти. Но к этому надо возвращаться. Так что один человек другому может помочь. Конечно, так не всегда бывает. Во-первых, надо уметь сказать, во-вторых, надо уметь побыть, в-третьих, надо, чтобы человек, которому ты это скажешь, был готов к тому, что ты говоришь. Не всякому можно бросить в лицо смертный приговор. Иногда, зная это, приходится, не прибегая ко лжи, постепенно готовить человека к тому, что физическая

смерть придет, но — «разве наши отношения могут умереть?» Ветхий Завет говорит: Любовь, как смерть, крепка; а в Новом Завете мы можем сказать: любовь крепче всякой смерти... — и только тогда сообщить больному, что смерть действительно идет, когда он подготовлен.

Часто бывает, что больной давно уже догадался умом или в своем теле знает с совершенной уверенностью о грядущей смерти, а родные лгут: «Ах, как ты сегодня хорошо выглядишь!» или: «У тебя голос сейчас совершенно иной!» и т. п. А выйдут за дверь — и плачут. А больной отлично все это чувствует, потому что мы совершенно иным голосом говорим правду или лжем сознательно. В такой лжи есть преувеличение, есть какая-то особенная напряженность радости, и человек понимает, что все это сплошная ложь.

Поэтому когда человек тебе говорит: «Я чувствую, что умираю», можно ему ответить: «Знаешь, мы все под Богом ходим. Сейчас — нет, ты не умираешь, но, возможно, впереди смерть...» Или еще что-нибудь иное сказать, в зависимости от того, с кем ты говоришь.

Но мне кажется, страшно важно не замкнуть человека в абсолютное отчаяние одиночества. Если окружающие все время будут говорить больному, что перед ним только жизнь, десятки лет впереди, в то время как сам он чувствует, что жизнь течет из него, как из раны течет кровь — он не может докричаться до другого человека, который отказывается слышать, и остается замурованность. Больной как бы замурован один в тюремной клетки, ему некуда уйти, ему остается только смотреть на грядущую смерть и на все, что в его прошлом является мучительным злом или чем-то недоданным. И вот эти два момента очень важны, мне кажется.

А у священника своя роль. Не обязательно, я бы даже сказал, лучше, чтобы не он сообщал больному о смерти (разве что больной — его личный друг, но тогда это в другом плане происходит). Иначе больной в священнике всегда будет видеть профессионала, то есть человека, который пришел ради того, чтобы выполнить какую-то задачу. А нужно, чтобы сказал о смерти самый близкий человек, не обязательно тот или другой, а именно самый близкий. Это может быть друг, это может быть жена, это может быть брат, сын, дочь, кто угодно, — тот, кто самый близкий, и кто останется, кто будет при больном все время.

Я помню ужасный случай. Близкий мне человек умирал; мне не сказали ни о его болезни, ни о том, что грядет смерть. Меня вызвали, когда он был уже без сознания: «Отец Антоний, ты можешь причастить Мишу?» — «Нет, не могу больше причастить: он глотать уже не может. Почему вы меня не позвали раньше?!» «Мы побоялись. Понимаешь, на тебе черная ряса»... А мы были друзьями двадцать лет, он меня видел в черной рясе сколько угодно, и он меня не боялся... И человек ушел, потому что его «пожалели». А он давно знал, конечно, что умирает, потому что это состояние приходит не в одно мгновение.

— Мы уже много говорили о том, как действует священник при постепенном, медленном умирании человека. Но ему придется иметь дело и с экстремальными ситуациями — война, авария, — когда неожиданно умирает человек, может быть, незнакомый, но нуждающийся в поддержке, как никогда прежде...

— Большею частью самая страшная для умирающего мысль — та, что он отходит, умирает одиноко. То есть: он был частью общества, семьи, жизни, а теперь вдруг настала смерть, и ему никто не может помочь. И мне кажется, что очень важно священнику (а если священника нет, то любому человеку, даже неверующему) подойти и дать умирающему почувствовать, что он не один. Когда человек в таком состоянии, то священник или близкий друг должен считать, что этот человек — единственный на свете, и ему отдать все внимание и все время. И тут я хочу дать пример. В начале войны я был хирургом в полевом госпитале, и в моем отделении умирал молодой солдат. Я его, конечно, посещал днем; а в какой-то вечер подошел, взглянул на него, и мне стало ясно, что он не жилец. Я его спросил: «Ну, как ты себя чувствуешь?» Он на меня взглянул глубоко, спокойно (он был крестьянин, поэтому в нем была такая тишина полей, тишина лесов, тишина неспешной жизни) и мне сказал: «Я сегодня ночью умру». Я ответил: «Да, сегодня ты умрешь. Тебе страшно?» — «Умирать мне не страшно, но мне так жалко, что я умру совершенно один. Умирал бы я дома — при мне

были бы и жена, и мать, и дети, и соседи, а здесь никого нет...» Я говорю: «Нет, неправда, — я с тобой посижу». — «Ты не можешь просидеть со мной целую ночь». — «Отлично могу!» Он подумал, сказал еще: «Знаешь, даже если ты будешь здесь сидеть, пока мы разговариваем, я буду сознавать твое присутствие, а в какой-то момент я тебя потеряю и уйду в это страшное одиночество в момент, когда страшнее всего — умирать». Я ответил: «Нет, не так. Я с тобой рядом сяду. Сначала мы будем разговаривать, ты мне будешь рассказывать о своей деревне; дашь мне адрес своей жены. Я ей напишу, когда ты умрешь; если случится, навещу после войны. А потом ты начнешь слабеть, и тебе будет уже невозможно говорить, но ты сможешь на меня смотреть. К тому времени я тебя за руку возьму. Ты сначала будешь открывать глаза и видеть меня, потом закроешь глаза и уже меня видеть не сможешь, уже не будет сил открывать их, но ты будешь чувствовать мою руку в своей руке или свою руку в моей. Постепенно ты будешь удаляться, и я это буду чувствовать, и периодически буду пожимать твою руку, чтобы ты чувствовал, что я не ушел, я здесь. В какой-то момент ты на мое пожатие руки ответить не сможешь, потому что тебя здесь уже не будет. Твоя рука меня отпустит, я буду знать, что ты скончался. Но ты будешь знать, что до последней минуты не был один». И так и случилось.

Это один из целого ряда примеров. Я сидел, как правило, с каждым умирающим в нашей больнице, не только своего отделения, но и других отделений, и каждый раз повторялась пусть не та же картина, но то же взаимное отношение: «нет, ты не один».

Другое, что я хотел сказать: человек как будто теряет сознание задолго до того, как умирает. И никогда не должны ни врач, ни сестра милосердия, никто вокруг него — думать, будто потому что он не может с ними общаться, он не воспринимает то, что вокруг происходит. Когда я был студентом первого курса медицинского факультета и впервые работал в больнице, там, помню, умирал русский казак. На обходе старший врач остановился у его постели и сказал: «Ну, его и осматривать не стоит, он уже ушел», — и прошел дальше. Этот человек очнулся. Мы с ним говорили по-русски, поэтому он меня знал, и он мне сказал: «Знаешь, когда ты врачом будешь, никогда при умирающем не говори, что не стоит на него обращать внимания, потому что он-то тебя слышит, если даже ты не можешь его как-то воспринимать». У меня был другой случай, тоже во время войны. Попал в больницу раненый немец. Там был молодой протестантский пастор, который, пока тот еще мог воспринимать слово и разговор, читал ему вслух отрывки из Евангелия, с ним молился. Как-то этот молодой пастор вышел из его комнаты в слезах, наткнулся на меня и говорит: «Какой ужас! Этот человек умирает, я больше ничего для него не могу сделать». — «Почему?» — «У нас прекратился разговор, он потерял сознание». Я ему, выразившись очень резко, сказал: «Знаешь что, садись рядом с ним и читай вслух Евангелие на его родном немецком языке, начиная с воскрешения Лазаря», И этот молодой пастор в течение трех суток проводил целые дни и часть ночи при нем, то читал, то молчал, и так прочел ему все четыре Евангелия. В какой-то момент этот умирающий открыл глаза и сказал: «Спасибо, что вы читали. Я отозваться не мог, но каждое слово до меня дошло, и я вошел в новую жизнь»...

Это опять-таки священник должен знать. Причем делать это должен не обязательно священник; это может делать кто угодно, способный уделить свое время тому человеку, у которого времени очень мало.

У нас здесь был певец с замечательным басом, удивительной простоты человек. Он был, что называлось в прежней России, мещанин, среднего класса человек без особенного образования, пел в церкви всю жизнь. Он заболел раком, его взяли в больницу, я его посещал каждый день, и видно было, как он постепенно уходит. Вначале мы с ним разговаривали и молились вслух, и он пел со мной молебен или говорил молитвы. Потом он стал их слушать. Наконец, в какой-то день, когда я пришел, мне старшая сестра говорит: «Какой ужас! Его жена и дочь, которые в течение целого года отсутствовали, приехали сегодня, а он уже потерял сознание, умирает, они даже не могут с ним проститься». Я подошел, сказал, чтобы дочь села рядом с матерью, стал на колени рядом с Павлом Васильевичем и начал петь песнопения Страстной седмицы и Пасхи. Я не певец, но в какой-то мере то, что я пел, было

похоже на то, что поют в церкви. И знаете, можно было видеть, как постепенно к нему возвращается сознание, как это потонувшее сознание начинает всплывать на поверхность. И в какой-то момент он открыл глаза. Я ему сказал: «Павел Васильевич, вы при смерти. Ваша жена и дочь приехали, проститесь с ними». Они простились, потом я его перекрестил и сказал: «А теперь, Павел Васильевич, умирайте спокойно». Он погрузился в забытие и умер.

— В случае с солдатом ты еще не был священником. Как бы ты действовал, если бы уже был священником? Изменились ли бы твои отношение и действия?

— Нет, я сделал бы то же самое. Он во мне не нуждался как в священнике, потому что он был католик, и там был местный католический священник, навещавший раненых, поэтому пастырской ответственности у меня не было.

Если бы случилось, что он умирал на поле битвы или в таком положении, где до священника его вероисповедания не добраться, я бы его спросил: «А ты верующий?» Если да, то я ему предложил бы молиться вместе. Если нет, я ему сказал бы: «Знаешь, в течение всей нашей теперешней встречи я буду молиться тому Богу, в Которого я верю». Вот и все.

Если бы он меня попросил его причастить и не было бы возможности ему причаститься в своей Церкви, я думаю, что умирающего я причастил бы. У меня был спор с одним священником Греческой Церкви, который мне сказал: «В таком случае вы не православный, вы еретик. Как вы смеете давать Святое Причастие неправославному человеку, не заставив его отречься от его прежней веры?!»

— Это очень важный вопрос...

— Я согласен, что это очень важный вопрос. Но я думаю, что нельзя пользоваться тем, что человек при смерти, чтобы заставить его отречься от той веры, которая вдохновляла его всю жизнь, которая ему дала Христа. И с другой стороны, если человек с готовностью, с полной открытостью сердца скажет: «Да, я верю, что причащением Святых Тайн ко мне приходит Спаситель Христос, что через Святые Тайны в меня вливается Божественная жизнь», — я не усомнился бы его причастить. Богословски я могу быть прав или неправ, но опыт пяти лет на войне мне показал, что перед лицом реальной смерти стираются многие границы; лицом к лицу со смертью человек вырастает в такую меру, какой он не знал раньше. Я не говорю, что он делается героем, я только говорю, что лишь перед лицом смерти человек может познать свое человеческое достоинство и величие. Отцы Церкви говорили: «Имей память смертную». Это не значило, как многие сейчас понимают: «всю жизнь думай, что за плечами смерть, — как страшно!» Отцы говорили о другом: о том, что если ты не живешь всем своим существом, всей душой, всем мужеством своим, с готовностью даже умереть, то ты живешь только полужизнью. Французский писатель Рабле раз написал приятелю: «Я готов стоять за свои убеждения до виселицы исключительно». Это значит, что он не готов был стоять за них.

— Мы дошли до очень важного момента. Я спрашивал насчет действий священника: как быть, если нельзя употреблять слова. Но все-таки молитва не простое слово. Как можно с таким человеком молиться, если нет запасных Святых Даров? как лучше всего молиться? простыми молитвами экспромтом, чтобы как-то яснее было тому, кто умирает и, может быть, приходит уже в совершенно бессознательное состояние?

— Я думаю, что надо молиться из глубин своего сердца, то есть со всей возможной правдивостью, так, чтобы молитва, с одной стороны, была как бы предношением этого человека перед лицом Божиим, с другой стороны — могла дать форму тем чувствам, которые этот человек неминуемо испытывает.

Я когда-то видел фотографию доктора Швейцера, который был миссионером и врачом в Африке, и картина меня захватила. Он стоит с очень значительным лицом, и перед ним маленькая негрятка держит на руках и поднимает к нему малюсенького ребенка. Она ничего не говорит, но она смотрит ему в глаза так, будто говорит: «Мой ребенок страдает, мой ребенок может умереть, а ты — все знаешь, ты можешь его спасти. Я тебе его отдаю, возьми его и верни мне здоровеньким...» Мне кажется, что этот образ, эта картина говорит о том, что называют заступнической молитвой. Такая молитва заключается не в том, чтобы



Богу твердить: «Сделай, сделай, сделай... сделай...», а в том, чтобы в свое сердце взять этого человека, и стоять перед Богом, и его держать перед Господом и говорить: «Господи, я Тебе его вручаю, без условий, без ограничений, со всей (пусть малой) верой, какая во мне есть, ради Твоей любви к нему и ради того, что Ты можешь над ним совершить то, что ему нужно».

Это первое, что мы должны сделать в таком случае, о котором ты говоришь. Умирает человек (потому ли, что на него наехала машина, или потому что его из пулемета ранило насмерть) — ты его первым делом должен взять, принять в себя, не защищаясь против его страхов, его боли, его непонимания, и держать перед лицом Божиим. А второе: ты можешь помочь ему, уже лично, если будешь молиться такими словами, которые для него что-то открывают. Если ты возьмешь молитвенник или служебник и будешь вычитывать «Канон на исход души» на славянском языке, это не дойдет до человека. А если ты просто будешь как бы говорить с Богом... Например: «Господи, вот мы оба перед Тобой. Мы оба стоим перед лицом смерти (в случае войны совершенно ясно, что не только раненый, но и здоровый стоит перед лицом смерти). Вот умирает человек, которого Ты создал, которого Ты вызвал из небытия по Своей любви, Ты в него поверил, Ты вручил ему жизнь, а теперь Ты ему даешь эту жизнь завершить подвигом отдачи этой жизни за ближних своих, за друзей, за Родину...» Я не хочу сказать, что надо молиться точно такими словами, — но в таком настроении. И затем, если ты успел перемолвиться несколькими словами с раненым или умирающим и как-то почуять, насколько он верит, во что он верит, в зависимости от этого его веру как бы выразить с большей силой, чем он может в данную минуту это сделать.

— А если веры нет?

— Если веры нет, ты можешь сказать: «Ты не веришь, а я верю. Я буду с моим Богом говорить, а ты послушай, как мы друг с другом разговариваем...» И если это сделать, то часто бывает, что до человека доходит. Я не могу логически это объяснить. Редко-редко бывает, чтобы умирающий пожал плечами и сказал: «Уходите со своим Богом!..»

Но тут, раньше чем дойти до Бога, мы непременно должны показать наше человеческое сострадание, близость, показать, что мы родные ему, что он нам родной.

— В конце концов из всего этого вытекает важное правило: даже если человек неверующий, молиться можно и даже нужно?

— Да, я уверен, что молиться надо, но не так, чтобы молитва была ему оскорблением. Если человек скажет: «Только не говорите мне о Боге!» — молчи. У тебя есть сердце, у тебя есть ум, ты можешь предстать перед Богом и держать этого человека перед Богом. Но навязывать Бога в смертный час человеку, когда тот от Бога отрекается сознательно, просто жестоко.

— Мимоходом у меня возникла мысль по поводу славянского языка. Человек лежит на смертном одре и постепенно тихо уходит. Как насчет славянского языка и сложных молитв в таком случае? Они не доходят, может быть?

— Я думаю, что если просто взять молитвослов и читать готовые молитвы, это не дойдет. Но, думаю, что не незаконно эти тексты читать, во-первых, заменяя непонятные слова понятными, русскими, во-вторых, прибавляя нечто или убавляя, в зависимости от того, кто этот человек, что ты о нем знаешь, — с тем, чтобы молитвенные слова стали молитвой, относящейся лично к этому человеку. Потому что все наши службы рассчитаны на всех возможных людей на свете, но ни один человек не представляет собой этого «всевозможного» человека. Поэтому иногда проще изменить некоторые слова, чтобы они были понятны — это раз; а во-вторых, выбирать те молитвы, которые для этого человека могут иметь смысл. Ведь речь идет не о том, чтобы совершить над ним определенный обряд, речь идет о том, чтобы до него дошла церковная молитва, церковная вера, человеческое тепло и любовь, окутанность церковной молитвой. И иногда, если придерживаться просто написанного текста, человек его не может услышать из-за языка, из-за мыслей, которые там есть. Поэтому можно сказать несколько слов из этой молитвы, а потом своими словами их развить. И это не грех, это не неправда. Я помню письмо Феофана Затворника, где он

говорит, что мы должны учиться из молитв святых тем чувствам и мыслям, которые в них заключены. Каждая молитва святого говорит нам о том, как он себе представляет Бога и какое общение у него с Богом было, как он себя видел по отношению к Богу и к собственной совести, какое место он занимал по отношению ко всему сотворенному миру. Все это можно узнать из молитв, и постепенно эти молитвы делаются твоими. Но, с другой стороны, когда ты ими молишься, ты должен вложить в них свой личный опыт Бога, сознание себя самого, личное сознание своего положения в мироздании.

В каком-то отношении можно так сказать: употребляя молитвы святых, мы находимся в положении человека, который прислушивается к музыке великих композиторов. Он воспринимает через музыку только то, на что сам способен, то есть у него дрожат в душе те струны, которые уже способны отозваться на многосложность данной музыки. Но по мере того, как он прислушивается чаще и чаще, его душа делается более чуткой, и в какой-то момент ему не нужна будет музыка, потому что он сможет перейти из звука в молчание или потому, что он воспримет начальные звуки и потом их остановит для того, чтобы ими жить дальше. И Феофан Затворник говорит, что цель употребления молитв святых в том, чтобы потом быть в состоянии переходить не от слова к слову, а из чувства к чувству. Взглянешь на слова — и эти чувства родились в тебе, и ты потом умел бы их своими словами выражать Богу, но на основании тех глубоких, истинных, подлинных чувств, которые святой тебе подсказал.

Это то, что я делаю, например, когда у нас бывают здесь говения. Я провожу одну беседу, потом у нас часовое молчание, потом вторая беседа, другое молчание, и затем общая исповедь. На общей исповеди я беру покаянный канон, вычитываю несколько строчек, и потом на основании того, что я читал, перед Богом произношу свою исповедь. И потом перехожу к следующим строчкам. И так далее.

И я думаю, что то же самое может происходить, когда молишься над умирающим или над больным. Читаешь несколько строчек или несколько слов; они в тебе вдруг рожают живое чувство, которое ты можешь выразить по отношению к этому больному или умирающему, потому что до тебя «дошло». Знаешь, есть восточное присловье, что если человек стреляет из лука, он никогда не попадет в мишень, если стрела не пробьет одновременно его сердце. И я думаю, что это очень верное слово. Если то, что ты говоришь, тебя не пробивает, то конечно, оно ни до кого не дойдет. Это относится и к проповеди, и к вычитыванию молитв, к исповеди и к любому нормальному человеческому общению.

— Ты упомянул исповедь. Мы об этом еще не говорили. Человек умирает. Многие даже нецерковные люди нуждаются в таком исповедальном моменте. Как помочь в этом? как человека подвести к этому моменту, если он не знает, какими словами пользоваться, если он просто не привык к исповеди?

— Я думаю, что когда времени мало, то нельзя пускаться в полную катехизацию умирающего или больного. Поэтому вопрос стоит так: «Ты сейчас войдешь в вечность. Хочешь ли ты войти в вечность со всем грузом, который ты собрал за свою жизнь? Есть ли такие вещи в твоей жизни — поступки, слова, мысли, — которые ты хотел бы оставить на земле, чтобы они здесь превратились в прах и пыль? Есть ли в твоей жизни такие поступки, такие моменты, которые недостойны тебя самого?..»

Это — минимум. Можно прибавить, в зависимости от того, кто этот человек: «Есть ли такие вещи, которые тебя заставляют стыдиться перед Богом и думать: как я перед Ним встану, когда я к Нему так в течение жизни отнесся?.. Так вот, раньше чем ты уйдешь в вечность, сними с себя эту тяжесть. Скажи: от таких-то и таких-то моих поступков я отрекаюсь; такие-то слова я сейчас не хотел бы произнести; если бы я мог их стереть с доски моей памяти, я бы это сделал. По отношению к Богу — я все время на Него ссылался, и все время Его обманывал, унижал, оказывался Ему неверным. По отношению к людям — я знал, как Бог любит людей, а я относился к ним, будто Бог ни при чем, будто я — бог...» Все это человек может выразить в нескольких словах; и если не может говорить вслух, он может внутренне сказать Богу: «От всего того, в чем я оказался недостойным ни своего